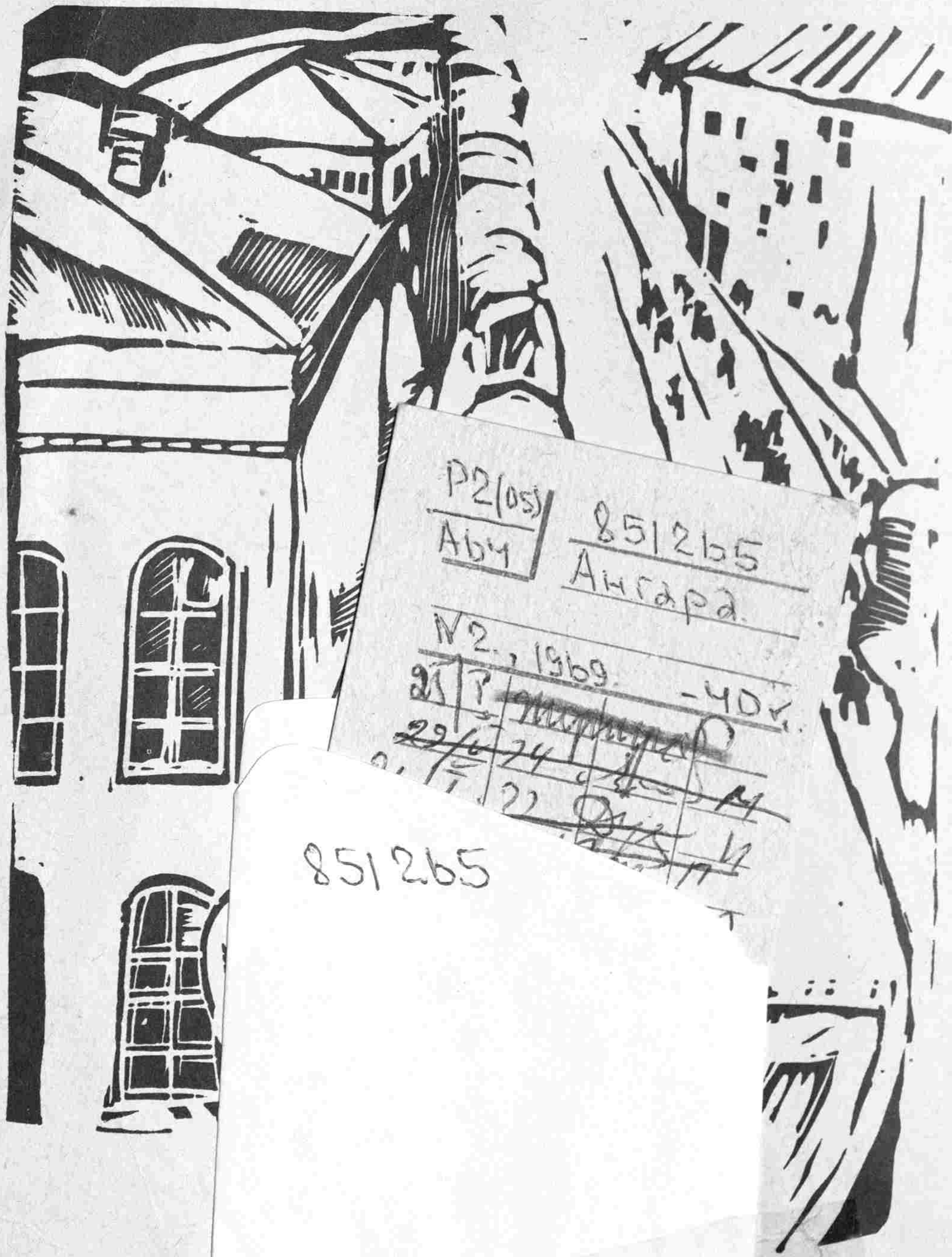
АНГАРА



1969 №2

МАРТ
АПРЕЛЬ



АНГАРА

2 | 69 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

ГОД ИЗДАНИЯ 39-Й

СОДЕРЖАНИЕ

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, Дом писателей. Телефон 4-56-76.

Восточно-Сибирское книжное издательство

Калерия ЦИСС

МЫ УЛЕТАЕМ НА ЗАПАД

Я училась в школе и мечтала стать летчицей. Тридцатые годы были годами челюскинской эпопеи, в это время прогремела слава чкаловских и громовских перелетов, которая неотразимо действовала на умы и сердца моих сверстников. Не удивительно, что и я твердо решила научиться летать. С того момента, когда я узнала о существовании в Улан-Удэ аэроклуба, я окончательно «помешалась» на авиации, как выражался мой покойный отец. Моим первым осознанным горем был отказ принять меня на летное отделение аэроклуба по молодости. К этому времени я была уже комсомолкой.

Когда наша семья переехала в Иркутск, первым моим делом было разузнать насчет аэроклуба. Тут меня ждала удача. Легко вообразить, с каким рвением я налегала на учебу в аэроклубе. Зато пострадала моя учеба в школе; в 10-м классе, и к стыду своему и в назидание, я осталась на второй год.

Очень здорово мне влетело за это от комсомольской организации школы, от учителей и от родителей, так, что на следующий год десятилетку я окончила, успев одновременно пройти две стадии учебы в аэроклубе: получить звание пилота запаса и окончить программу тренировочного отряда, это было вроде курсов повышения квалификации.

К осени 1939 года из Херсонской летной школы Осоавиахима пришла путевка на одну девушку-пилота. Подходящих кандидатур по образованию было две — я и Соня Бурзаева, которая также впоследствии служила в женском авиаполку. Командование аэроклуба приняло соломоново решение. Послали нас в Херсон обеих, и не сказали нам, что путевка была одна. Нас приняли.

В 1942 году я была призвана в Советскую Армию и ровно год прослужила в одном из авиаполков на востоке страны. В сентябре 1943 года меня зачислили пилотом в гвардейский авиаполк, личный состав которого состоял исключительно из женщин. Я прослужила там до конца войны. При моей бытности полк воевал на Кубани, в Крыму, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии и в Германии. За это время я совершила 380 боевых вылетов.

После демобилизации я поступила работать в Восточно-Сибирское

территориальное управление ГВФ. Открывалась новая страница моей жизни. Я пришла в управление проситься на должность пилота. Я знала, что весьма и весьма неохотно брали «нашего брата» на летную работу, багаж мой был скромен: 800 часов налета, из них 500 ночью, но я мечтала полетать в спокойных рейсовых условиях.

Меня принял начальник Восточно-Сибирского территориального управления ГВФ Георгий Прокопьевич Филановский. Начальник Управления принадлежал к плеяде старейших сибирских летчиков, всю жизнь пролетал в суровых условиях Восточной Сибири и сохранил живой и пристальный интерес к людям.

Крепко и устойчиво ступая, невысокий и плотный, он шагал по кабинету. Отвечая на вопросы, я думала, что, однако, все напрасно, не возьмет он меня летать. Но под конец он велел мне идти в отдел кадров оформляться на должность пилота, что было для меня полной неожиданностью.

Медицинская комиссия положила конец моей летной карьере. Подвело сердце и, главное, глаза, сказалась ночная работа.

Двенадцать лет работаю я на земле в системе ГВФ. Здесь в 1951 году приняли меня в партию, здесь незаметно миновали самые лучшие зрелые годы. Много и хорошего и горького пережито за это время.

И вот сегодня я провожаю своего сына в далекий и трудный поход. В его котомке, которую мы накануне шили вместе и теперь ловко приладили за плечами, лежат соль, сахар и спички, чтобы было чем разводить костер в холодном снежном поле, и замороженные пельмени, загодя купленные отцом.

Одетый в теплую стеганку и по-солдатски туго подпоясанный, сын радостно скатился с лестницы, но не забыл улыбнуться мне на прощанье.

В сумерках и тишине властно зазвучали голоса прошлого, далекие отзвуки давних боев и ночевок, ожили родные и знакомые образы.

...В городе Краснодаре есть такой пригород — Пашковская. Ранней осенью 1943 года я искала по улочкам Пашковской штаб воздушного соединения, чтобы представиться его командующему перед отправкой в женский гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк для прохождения дальнейшей службы в качестве пилота.

Сам командующий лично беседовал с будущими гвардейцами, внимательно отбирал людей для пополнения боевого коллектива этого полка, и кое-кому пришлось не солоно хлебавши поворачивать обратно.

Наслушавшись от народа таковых объяснений, я неуверенно переступила порог заветной комнаты.

За моими плечами был год бледной и неинтересной службы в одном из авиаполков на востоке страны, где приходилось больше зани-

маться рытьем землянок да капониров для самолетов, чем полетами, а оба мои брата давно воевали по-настоящему.

Попав в совсем другую атмосферу, в горячую обстановку близкого фронта, я меньше всего хотела поворачивать обратно.

Командующим нашим фронтовым соединением был Вершинин Константин Андреевич, ныне крупный военачальник. Человек высокого роста в гимнастерке с золотыми генерал-лейтенантскими погонами, легко и гибко поднялся со стула в ответ на мой рапорт. Лицо у него было немного суровое, чистейшего русского типа, а русые волосы казались еще светлее от пронизывающего их солнечного света и серебристой седины. Держался он просто, серые глаза смотрели доброжелательно, голос был глубокий и спокойный. Боязнь моя исчезла.

С грустью и нежностью мы вспоминаем о нашем командующем. Прошло много лет с тех пор, как ушли мы из армии, других молодых летчиков опекает маршал авиации Константин Андреевич Вершинин — отец и командир. Никогда понапрасну он не обижал нас, радовался, когда мы сбгоняли в работе братские подразделения, и вместе с нами горевал о наших потерях.

А когда кончилась война и наш полк рассыпался по Советскому Союзу в своем новом гражданском существовании, то сколько раз мешала его крепкая рука свершить кому-нибудь несправедливость по отношению к нашим девушкам.

Ранняя осень на Кубани была прекрасна и щедра. Никогда не доводилось мне быть на юге в такое доброе время. Не шла в счет учеба в Херсоне, которая пришлась на позднюю осень и начало весны.

Хутор Маевский, расположенный западнее «голубой линии» и отбитый у гитлеровцев накануне, имел вид красивой декорации к какой-нибудь украинской опере со своими игрушечными беленькими хатками и живой зеленью фруктовых садов и виноградников. Теплая Кубань и лягушачьи концерты на вечерней и утренней зорьке дополняли идиллию, и только неумолчный треск моторов ПО-2 да иногда чужие нудные ноты высоко забравшегося стервятника-фашиста возвращали к суровой действительности.

Полк жил полнокровной жизнью, исполненной для новобранцев таинственности и прелести. А для нас наступила учебная страда. Летчики мы были пока что никудышные, так как летать ночью мы не умели. Но инструкторы у нас были многоопытные и терпеливые. Молодых пилотов прибывшего пополнения выделили в учебную эскадрилью и назначили командиром Марину Чечневу. Командир эскадрильи — молодой и подтянутый лейтенант. Только глаза, очень черные и очень красивые, и очень нежный овал лица выдают в ней девушку. Слова, с которыми она к нам обратилась, сводились примерно к следующему: «Трудно не спать ночью. Еще труднее ночью летать. А еще труднее летать ночью к

фашистам с теми гостинцами, которые вы видели на аэродроме, сложенными в штабеля. Поэтому готовьтесь к трудной жизни. Привыкать можно постепенно, влетываться не сразу, с расстановкой. Но ни мне ни вам не интересно коптить воздух над аэродромом, в то время когда нас ждут более важные дела. Итак, давайте стараться».

Конечно, мы очень старались. В это время шло наступление, и полк перелетал с места на место, постепенно приближаясь к берегам Таманского полуострова. Конец тренировки совпал с нашим пребыванием в Пересыпи. Там молодые пилоты получили самолеты и экипаж, штурмана с техником, и стали самостоятельными боевыми единицами.

Есть на свете такое маленькое рыбачье селение на полуострове Таманском, там, где два моря, Черное и Азовское, соединены Керченским проливом. В 1943 году мы полгода простояли здесь в обороне перед весенним наступлением на Крым. Полгода летали через Керченский пролив ночью, обрабатывая заданные цели. Крутой морской берег по соседству с поселком был уставлен рядами самолетов ПО-2. Они очень оживляли своим веселым зеленым цветом пейзаж ранней таманской весны. Только ветер баловал нас еле уловимым теплом согретой земли да море под солнцем мягко светилось, сомкнувшись с далеким горизонтом, да чайки с резкими криками вились над берегом.

Аэродром был близко от поселка. В весеннюю распутицу летный состав, отягощенный меховым обмундированием и, главным образом, унтами, не месил придорожную грязь. Аэродром соседствовал с вполне приличной коммуникацией, и фронтовые шоферы никогда не отказывались подбросить нас на подножке своего ГАЗа или «студебеккера» туда или обратно. Только они очень удивлялись, когда какой-нибудь молоденький парнишка-летчик, прытко соскочив с подножки, кричал «спасибо» девичьим голосом. Или нас возил автобус немецкого происхождения. Его черный цвет и солидные габариты не оставляли сомнения в первоначальном его предназначении. Нас это не смущало. Много песен было перепето в траурном немецком автобусе и прежде всего самая любимая — «Споемте, друзья, ведь завтра в поход».

Осевши на неопределенное время на одном месте, мы расположились в домиках, спали на чистых простынях, которые стирали и гладили сами, в каждой эскадрилье имелся свой утюг. Наши шелковые подшлемники были всегда выстиранными, выглаженными и даже выкрашенными, у кого в синий, у кого в голубой, а то и в очень красивый желтый солнечный цвет. Аккуратно заправленный за широкую резинку летных очков, он выглядел очень мило на чьей-нибудь юной кудрявой головке. Разноцветные шелковые подшлемники были нашим единственным украшением.

Почти все мы носили длинные волосы, у летчицы Зои Парфеновой были настоящие золотые косы, а у техника эскадрильи Тани Алексеевой были черненькие тоненькие косички.

Мы жили в местности, где не было хорошей воды, и ее привозили

издалека, с Кубани, только для питья. Местные жители справедливо называли такую воду сладкой. Местная солоноватая вода была отвратительна на вкус. Мыло не мылилось в такой воде и теряло все свои приятные свойства.

Выручал нас дождь, который был манной небесной. Тогда объявлялся общий аврал, все свободное население высыпало на улицу, и выставлялась на дождь вся свободная посуда. Дождевую воду берегли пуще глаза. Когда она кончалась, отправлялись на промыслы. После рабочей ночи, кое-как выспавшись, вооружались пустым ведром и кружкой и шли на дорогу. Тихонько, чтобы не взбаламутить, воду черпали кружечкой из ямок и колдобин и осторожно выливали в ведро. Так и шли от лужи к луже. В стороне от тракта виднелись хорошие большие ямы, но мы только вожделенно поглядывали на них. Фашисты понатыкали мин везде, и мы не уходили от дороги.

Так, с чисто женской изобретательностью, мы справлялись с затруднениями в своем фронтовом быту.

Кормили нас хорошо, и начальство было неплохое. Только одолевали нас мыши. В те времена их развелось на Тамани огромное количество, какого не упомнят старики. Мыши отравляли нашу разумную и слаженную жизнь хорошо организованного рабочего коллектива. Они были вездесущи, и сцены, которые у нас из-за них разыгрывались, были полны подлинного драматизма.

В полку было золотое правило — тщательно вытряхивать одежду перед одеванием при любой спешке. Этим правилом однажды легкомысленно пренебрегла штурман нашей эскадрильи Руфа Гашева и была за то жестоко наказана.

В один прекрасный вечер летный состав тихо и мирно следовал в автобусе на аэродром. Вдруг, среди полного благополучия, в автобусе раздался отчаянный визг. Руфа Гашева заплясала танец диких, насколько это было возможно в тесноте автобуса. Дрожащими руками мы помогли ей освободиться от комбинезона. К нашему общему ужасу из ее рукава скакнула серая мышь и в сумятице скрылась в неизвестном направлении. В этот вечер шофер вез на аэродром не летный состав гвардейского авиаполка, не единожды битый и обстрелянный, которому через час предстояло уйти на выполнение боевого задания далеко за передний край нашей обороны, а просто стайку перепуганных девчат.

А на аэродроме все было готово к работе, и наши крошечные машины с подвешенными бомбами и пулеметом, который торчал из задней кабины, выглядели очень внушительно.

Сумерек на Тамани почти не бывает. С последними лучами солнца весь полк, самолет за самолетом, с интервалом пять-семь минут поднялся в воздух, рассчитывая встретить темноту у переднего края.

Внизу шумели моря, по морям ходили волны, а по небу плыли тучки, которые мы то и дело обгоняли. Моего штурмана, Надю Студилину, беспокоила погода над целью. Вот она приподнялась на си-

деньи, увидела что-то впереди и вовсе полезла вон из кабины. Что за привычка! «Сядь, ради бога!» — прикрикнула я на нее.

Ночным летчикам, которые всегда работают в одиночку, тоже знакомо чувство локтя. Когда летишь над вражеской территорией, в полном мраке, очень приятно увидеть по соседству голубые огоньки выхлопа от мотора ПО-2 и сам самолет, бесшумный, призрачный и быстрый, как летучий голландец. Кто-то уже отработал и летит себе домой, за новой порцией, подгоняемый попутным ветерком.

В соответствии с прогнозом моего штурмана цель была закрыта рваными клочками облаков. Они мешали нашему прицелу и мешали вражеским зенитчикам обстреливать нас. Наловчившись, мы сбросили свой груз и развернулись к морю, чтобы не болтаться над негостеприимной землей. В этот момент Надя увидела под одним прозрачным облачком большое розовое пятно, которое быстро перемещалось, а потом осталось на месте, на земле, в виде маленького пожарчика. Не думая ничего худого, мы погадали, кто что поджег, и взяли курс на родной аэродром.

Хорошо лететь к своему дому, где тебя любят и ждут! Там, неподалеку, на горушке, пристроена красная неоновая мигалочка, чтобы ты не заблудилась в плохую погоду. Там томится твой техник, тебя ожидаючи. Командир посматривает на часы и прикидывает, сколько тебе осталось до посадки.

Вот и старт, три лампочки в одну линию. Есть еще и прожектор, его можно попросить, часто мигая АНО[1] после четвертого разворота. Мы хорошо садимся без прожектора, а в конце пробега вдруг слышим, как нас окликает девичий голос: «Кто прилетел?» «Рыльская!» — враз кричим мы со штурманом, почуяв неладное.

В эту памятную ночь, одну из моих первых боевых ночей, мы потеряли летчицу Полину Прокопьеву и штурмана полка Женю Рудневу. Их пылающий как факел самолет был тем пожаром, который мы наблюдали в районе цели.

Полина Прокопьева — моя землячка-иркутянка — была таким же как я молодым летчиком. Это был серьезный и спокойный пилот, которому не хватало только боевого опыта. Женя Руднева была штурманом старого состава.

Я — пилот молодого пополнения, считаю своим долгом рассказать о работе старых штурманов, конечно, старых по опыту, а не по возрасту, некоторые из них были моложе меня. Они были наставниками, няньками и верными друзьями молодых пилотов. Летчики старшего поколения научили нас уверенно летать ночью. Но первые боевые вылеты мы производили со старыми опытными штурманами.

Конечно, куда приятнее летать с видавшим виды летчиком, который не растеряется в любом положении и выйдет целым из обстрела и

---

[1] АНО — аэронавигационные огни.

прожекторов. Но старые штурманы все равно больше любили летать с молодыми пилотами.

Молодой пилот широко раскрытыми глазами смотрит на впервые открывшийся ему неведомый мир. С душевным трепетом пересекает он линию фронта. Бьет артиллерия своя и чужая, и пулеметчики-дуэлянты нащупывают друг друга огненными трассами. Страшно, страшно лететь на хрупкой машине прямо в логово к врагу. Заслышав звук твоего мотора, немецкий прожекторист направил в небо неподвижный слушающий луч. Вот-вот подключатся еще несколько. В небесное пространство полетели друг за другом зенитные снаряды эрликона. Все это по твою душу, молодой пилот. А в наушниках слышится милый знакомый голос: «Доверни-ка, Лерочка, чуть правее, а то нас сносит. Как тебе нравится цвет немецких ракет? Гадость, правда?»

Стыдно станет, и сделаешь все так, как тебе говорят. А потом, правда не сразу, поймешь, где настоящая опасность, а где и пугало стоит. Так старые штурманы учили нас собирать и копить драгоценные крупицы опыта, а Женя Руднева особенно любила эту работу.

Женя Руднева была нежная и мечтательная девушка. Ей была свойственна какая-то особая душевная деликатность. Никто не слыхал от нее резкого слова. И не было у нас в полку более благополучной службы, чем штурманская.

Мы часто шутили, что с нашей Жени нужно снять офицерские погоны, убрать ордена, надеть белое платье, посадить с книгой у пруда, и ни один художник не найдет лучшей натуры для изображения поэтической тургеневской девушки. Русская девушка, штурман полка, Женя Руднева до конца выполнила свой суровый солдатский долг.

Наступление на Крым началось через день после гибели наших товарищей.

Крым! Шелковый шелест ласкового моря, стройные кипарисы и благозвучные пушкинские строфы...

— Нет! — скажут мои товарищи. — Крым — это свет и тьма и борьба света и тьмы. В глубокой и мягкой бездне южной ночи еще ослепительнее свет прожекторов, еще резче свет ракет, пунктиров трассирующих пуль, артиллерийских выстрелов и реактивных снарядов, высыпанных «катюшей» в шахматном порядке. Крым — это ночной Севастополь с его белыми развалинами и блестящей водой бухт. Враждебно ощетинился он иглами прожекторов и трассами зенитного огня, собранного со всего полуострова фашистами при их последнем издыхании. Крым — это грандиозная ракетная иллюминация, устроенная наземниками по всему побережью в честь его освобождения. Таким мы запомнили Крым навсегда.

Предчувствие грозных и радостных событий волновало нас в ночь наступления.

Таинственно темнели очертания знакомых берегов. Спокойно и бес-

страстно отражало море огромное количество огня. Внизу разыгрывалась блистательная прелюдия большой и удачной операции. Мы, ее живые свидетели и участники, безнаказанно шныряли над кромешным адом, возникшим на древнем побережье. Гитлеровцев так знатно припекли, что они в ту ночь не огрызались.

Наш полк, подхваченный бурным ветром наступления, покинул постылую Пересыпь.

Оглянись, товарищ! Позади тебя безвестная могила погибших друзей, их пепел стучит в твое сердце. А впереди диво-дивное — Крым, над которым летим белым днем.

В круглое зеркальце, укрепленное на стойке центроплана, я вижу, как вертит головой мой хорошенький черноглазенький штурман, точно птичка. Все нам в диковину. Ночью Керчь таила угрозу, а при дневном освещении являла взору печальные руины, вопиющие о мщении. Страшное Багерово с его огромными прожекторищами оказалось безобидной маленькой железнодорожной станцией. Началась цыганская жизнь, наполненная и радостью, и лишениями, неповторимая и прекрасная.

Мы перелетали с точки на точку. Каждую ночь мы обрабатывали новые цели и каждый день спали на новом месте, на чистом воздухе, под крылом самолета. Здесь было наше рабочее место, спальня, столовая и гостиная.

Домовитый техничок заботливо зарулит самолет с таким расчетом, чтобы под плоскостью оказался бугорок, а не ямка. Бугорок сослужит тебе хорошую службу во время дождя. Расположись на нем, и вода тебя не подмочит или подмочит малую толику. Работяга-техничок занавесит чехлом от кабин наветренную сторону крыла и будет хлопотать у мотора и тихонько постукивать ключами, оберегая сон своего экипажа. Экипаж спит как в раю, в чистоте и прохладе и, наверное, воображает, что это мама, встав спозаранку, легонько погромыхивает посудой.

В ту пору техником у меня была Маша Щелканова. Самолет мой был не новый, мотор тоже. Но она очень хорошо все наладила, самолет отлично меня слушался, а зажигание отрегулировала так, что не надо было контачить, то есть дергать при запуске за винт. Поставит, бывало, винт на компрессию, залезает в кабину, покрутит ручку магнето, глядишь, мотор заработал самосильно. Золотые руки у Машеньки. И сама она крупная сильная девушка, и руки, настоящие технарские, сильные и цепкие, в ссадинах и заусеницах.

Мы улетели в Белоруссию в мае. В награду за нашу тяжелую работу Крым провожал нас нежным теплом и благоуханным цветением своих белых весенних садов.

Осенью 1944 года днем случилось событие необыкновенной важности. Полк миновал государственную границу Советского Союза.

Родина моя! Отчизна! Мы покинули твои пределы и летим на своих легких полотняных крыльях навстречу неизвестной судьбе. Кому из нас суждено переступить порог родного дома и кто сложит юную голову на чужбине, оплаканный скупыми солдатскими слезами?

Никто из нас этого не знал и не грустил. Ясным днем, овеянные теплым ветерком, в отличном настронии, мы сели на первом месте нашего базирования, на земле Польской республики.

На картушках наших компасов неизменно значился западный курс. Но вот настало время, когда наши самолеты полетели на север. Это была пора осенней непогоды, которая усугублялась близостью неприветливой Балтики. Сырость и плохая видимость были нашими всегдашними спутниками.

Однажды полк получил задание обрабатывать дороги, отходящие от города Данцига, по которым двигался отступающий противник. Было облачно, но мы уверенно продвигались на север. Широкая Висла, вдоль которой пролегал маршрут, была указующим перстом, а не будь ее, Данциг издалека был виден на темном горизонте будто тлеющий уголек. Древний Данциг горел и дымился как огромный костер. Тяжеловесная немецкая готика, увенчанная стрельчатыми шпилями костелов и довлеющая над городом, как свидетель векового прусского владычества, освещалась зыбким зловещим пламенем пожаров. Горький дым поднимался над городом и смешивался с низко нависшими темными тучами. Мы летели не высоко и не низко, близко прижимаясь к нижней кромке облаков, как вдруг нас обстреляли. Вспыхнули и захлопали вдруг разрывы зенитных снарядов, дымные облачка быстро окружили нас. Не раздумывая, мы нырнули в сырое холодное облако. Серая влага моментально осела на плоскостях, на козырьках кабин, умыла лица прохладой. Несколько секунд слепого полета, и над нашими головами раскрылось высокое небо во всей своей первозданной чистоте и во всем своем глубоком покое. Освещенные полной луной, под нами тихо колебались белые прозрачные облака. Там, на земле, гремела война и смерть витала над головами людей, а здесь мир и вечность близко глянули в наши усталые глаза.

Ах, как неуместен здесь наш маленький самолет с его хрупкими слабыми крыльями, из-под которых торчат тупые рыльца бомб. Как надсадно гудит мотор и как медленно тащит он на высоту свой тяжелый смертоносный груз. Неуютно, одиноко и тяжко стало нам с Надей в этом чужом небе над чужой землей.

А над целью творится столпотворение вавилонское. Ну, брат, тут некогда тосковать. Гляди, поглядывай, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из своих. Девочки густо развесили САБы, и они заливают все вокруг своим неживым ровным светом. Вон на дороге горит машина, свидетельствуя чье-то удачное попадание. То тут, то там падают и рвутся бомбы. Отработали и мы. Наша машина освободилась от груза и радостно, как живая, встряхнулась. Мы быстро развернулись и помчались налегке домой.

Но на этом приключения наши не кончились. Уже над «своей» территорией у нас неожиданно стал сдавать мотор. Никакие «домашние» средства не помогли. Приходилось садиться незнамо где. Надя освещала землю ракетами. На земле ничего хорошего для нас не было, холмы да пригорки. Мы планировали на барахлящем моторе, со стесненным сердцем поглядывая вниз. Неожиданно мотор заработал без перебоев, наша машина полезла вверх и тут-то, перед самым своим носом, мы увидели, будто возникшие из воздуха, толстые, обросшие инеем провода электропередачи. Еле-еле мы через них перевалили. Нам с испугу показалось, что мы едва не задели за них.

Молча летели мы над темным лесом, я старалась набрать побольше высоты, на случай повторной сдачи мотора, и поэтому наша путевая скорость была на двадцать—тридцать километров меньше обычной. Приближалось время рассвета.

— Лера, глянь, к нам кто-то пристроился!

Я посмотрела. С обоих боков чуть сзади нас шли два ПО-2, как почетный кортеж. Мы лезли на высоту, и они лезли следом за нами. Я знала, как они, бедные, устали, с каким наслаждением они «прижали» бы свои машины к земле и помчались навстречу рассвету и отдыху. Но нет, они не бросали нас, подбадривали и подмигивали огоньками АНО. Так, втроем мы притопали на свой аэродром, когда уже совсем рассвело. Площадка опустела. На поле одиноко и сиротливо маячили две человеческие фигуры. Крупная и мужественная, в старом кожаном реглане, командира полка гвардии подполковника Бершанской и легкая и изящная, в синем комбинезончике, комэска Нади Поповой, застывшие в напряженных позах нетерпеливого ожидания. Они обрадованно зашевелились, следя за нашим полетом. Мы улыбались, видя, как они оживились и засуетились, представляя, что они только не передумали, ожидая нас. Это была хорошая, добрая минута.

Когда я вспоминаю свой полк, я вижу всегда одну и ту же картину. Обширное поле и над ним белорусское небо. Грустный и тихий закат. Все наши машины уже вырулили на старт, стоят рядком. Они начищены, заправлены бензином и маслом, все дырочки залатаны, под плоскостями подвешены бомбы, девичьи пальчики уже ввернули взрыватели и «законтрили» вертушки проволочными усами. Посадочные огни — три лампочки — уже зажжены, но еще совсем светло, и они неярко желтеют на зеленой траве. Все моторы выключены. Еще нет задачи на сегодняшнюю ночь, Катя Олейник улетела за ней к большому хозяину, а мы в ожидании сидим дружной кучкой и сумерничаем. Штурманы вытащили из планшетов большие склеенные листы двухкилометровок, сплошь испещренные красным и синим карандашами.

Нежные румяные лица в разноцветных шелковых подшлемниках, как цветики на зеленом лугу.

Неугасима молодость! Нипочем ей изнурительная ночная работа, лишения, постоянная грозная опасность, все вошло в привычку, и все

бессильно погасить этот румянец, убить смех, приглушить задушевную песню. Тихие сумерки опустились над лугом. И мы сидим смирно, боясь нарушить мирную тишину вечера. Но чуткие уши уже слышат знакомый звук мотора, в пустынном небе появляется черный крестик, и вот уже Катенькин самолет тихонько, по-домашнему, садится поблизости, не нарушая очарования тихого вечера. Минуты прошли, и поле опустело. Все самолеты улетели на запад.

Горячо любя свой полк, который мы не считаем расформированным, я с гордостью и радостью отмечаю два интересных обстоятельства.

Во-первых, полк постоянно и очень внушительно увеличивает свой контингент. Много родилось у нас детей, и все растут счастливо.

Во-вторых, матери наших детей совершенно не стареют, как будто на широких дорогах войны, где отзвенела их юность, они нашли секрет вечной молодости.

Наши лучшие годы прошли в боях. Мы думали о Родине, жили и работали ради нее тяжелую мужскую работу. Никогда не омрачала наши души нечистая совесть, зависть и злоба, а ведь ничто так не старит человека, как власть над ним этих низменных чувств.

Мы глубоко верим, что наши дети подхватят как эстафету и бережно сохранят нашу душевную ясность, верность и трудоспособность, глубокую любовь к родине и неистребимое жизнелюбие и осуществят заветную мечту человечества — вечный мир на нашей планете.

Василий **НИКОНОВ**

ТОВАРИЩ КОСТЮШКО

ГЕРОИЧЕСКАЯ ДРАМА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Антон Костюшко-Григорович, 28 лет.
Татьяна — его жена.
Иван Бабушкин, 33 года.
Виктор Курнатовский, 37 лет.
Эрнест Цупсман, 25 лет.
Исай Ванштейн, 26 лет.
Прокофий Столяров, 63 года.
Ракитин — солдат из Костромы.
Эрдыни—солдат, бурят.
Хаджи-Гирей — солдат, горец.
Карпуша — забайкальский казак.
Капа — горничная.
Степан Мигунов, он же Семен Хурнов — жандармский офицер.
Енька Звонарь — анархист.
Полицмейстер.
Тюрин — надзиратель.
Подполковник Заботкин — каратель.
Чтец.
Часовой.
Рабочие, солдаты, казаки, матросы, железнодорожники.

ПРОЛОГ

Занавес закрыт. Издалека доносится песня.

Шумит и плещет Ингода,
Заря над сопками пылает.
Над нами кружится беда,
Но нас она не испугает.

Мы смело выстоим в бою
И уничтожим вражью стаю.
Любовь и молодость свою
Мы отдадим родному краю.

Наш путь к свободе прям и крут—
Иного счастья нам не надо.
За нами тысячи пойдут
На мировые баррикады.

На занавесе, в лучах прожектора, появляются барельефы Костюшко-Григоровича, Бабушкина, Цупсмана, Ванштейна, Столярова.

Чтец. Памяти отважных борцов за революцию: Антона Костюшко-Григоровича, Ивана Бабушкина, Эрнеста Цупсмана, Исая Ванштейна, Прокофия Столярова посвящается это героическое сказание!

Слышится та же песня.

Иркутский тюремный замок. Комната свидания. За столиком Тюрин жует пирог, запивает молоком из бутылки. В углу бачок с кружкой на цепи. У окошка грубая деревянная скамья.

Тюрин. Опять арестантики поют. Веселый народец! Одному расстрел пришлепают, другой чахоткой харкает, а все: ля-ля! ля-ля! Што их лихоманит, погибели не боятся *(крестится)*. Осподи, царица небесная, сохрани и помилуй!

Входит Татьяна.

Тюрин. Барышня, вам кого?

Татьяна *(подает бумажку)*. Мне разрешили свидание с Костюшко-Валюжаничем.

Тюрин *(вертит перед глазами бумажку)*. А-а... который ранетый? Кажись, окачурился.

Татьяна *(испуганно)*. Что?

Тюрин *(чешет ногу об ногу)*. А, можа, нет. Пойтить посмотреть.

Татьяна тяжело опускается на скамью. Входит Мигунов, напевает: «Сердце красавицы склонно к измене и перемене...» Заметил Татьяну.

Мигунов. Бонжур. Осмелюсь спросить: кого ожидаете?

Татьяна. Мужа, Антона Валюжанича. Ради бога, скажите, он жив?

Мигунов *(досадливо)*. Ах, этот... романовец. Узник ледяной тюрьмы, жертва якутской трагедии...

Татьяна. Скажите, он жив?

Мигунов. А вы, этакая штучка... милое создание. Желаете повторить подвиг декабристок? Это сейчас не модно.

Татьяна *(наступает на Мигунова)*. Скажите, наконец!..

Мигунов. Но-но, мадам! Не так строго. Зашли бы чайку попить. Словом, располагайте мной. А пока адью. Служба!

Входят Тюрин и Костюшко. На Костюшко тюремный халат, ножные кандалы.

Костюшко *(берет Татьяну за руки)*. Здравствуй, Таня!

Татьяна. Здравствуй, Антон!

Тюрин. За руки не полагается.

Татьяна и Костюшко отходят в дальний угол.

Костюшко. Как живешь, Таня? Товарищи помогают?

Татьяна. Хорошо, Антоша. Как твоя рана?

Костюшко. Заживает.

Тюрин. Отходить не полагается.

Костюшко *(тихо)*. Где Бабушкин?

Татьяна. Не знаю.
Костюшко. Курнатовский?
Татьяна. Не знаю.

Татьяна пытается передать мужу бумажный кулек.
Тюрин подбегает, вырывает кулек из рук Татьяны.

Тюрин. Кульков не полагается.

Татьяна. Это макароны. Мой муж их так любит!

Тюрин. Мало, кто кого любит. Сказано — не полагается.

Татьяна. Вы посмотрите!..

Тюрин *(недовольно)*. Чего смотреть! В каждую макарону не влезешь. Можа, пилка там, аль ешо какой струмент. Сказано — не полагается.

Входит Мигунов.

Татьяна. Господин поручик! Разрешите передать мужу макароны?

Мигунов. Разумеется *(пристально смотрит на Татьяну)*. Скажите, вы в театре не играете?

Татьяна. Не приходилось.

Мигунов. Мне кажется, я видел вас на сцене. Я, знаете, сам в некотором роде артист. Да, не забудьте о чае *(уходит, напевая: «Без женщин жить нельзя на свете, нет...»)*.

Тюрин передает кулек Татьяне, она — Костюшко.

Костюшко. Береги себя, Таня.

Тюрин. Свидания окончена.

Татьяна. Послушайте...

Тюрин. Не полагается *(уводит Костюшко за руку)*.

Татьяна. До свидания, Антон!

Костюшко. До свидания, Таня!

Гаснет свет. Слышится песня. Громче, громче...

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка темна.
Темней этой ночки встает из тумана
Виденьем мрачным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво,
В ночной тишине то и знай,
Как стон раздается протяжно, тоскливо:
Слу-шай!
Слу-шай!
Слу-шай!

В полумраке видна тюремная стена, окно с решеткой.
Сквозь песню слышен звук пилки, мелькают руки.

Чтец. Уездным начальникам и полицмейстерам Забайкальской области. Читинскому полицмейстеру.

В ночь на третье августа сего года бежал из Иркутского тюремного замка политический арестант Антон Антонович Костюшко-Валюжанич, осужденный на двенадцать лет в каторжные работы... Предлагаю Вашему высокоблагородию немедленно произвести во вверенном Вам районе розыск Костюшко-Валюжанича и о результатах такового донести.

Приметы Костюшко-Валюжанича: 28 лет, рост два аршина шесть с половиной вершков, волосы на голове, усах и бороде темно-русые, глаза серые, нос седлообразный, лицо чистое.

Подписал: военный губернатор генерал-лейтенант Холщевников.

Вспыхивает прожектор, высвечивает барельефы, останавливается на барельефе Костюшко.

Та же песня, тихая, приглушенная.

Чита. Дом полицмейстера. Толстый полицмейстер гоняется за болонкой.

Полицмейстер. Шельма! Шельма! Куда ты, Шельмочка. Капа, где ты, Капа?

Входит Капа.

Капа. Что вам, господин полицмейстер?

Полицмейстер. Лови Шельму. Лезь под диван. Вон хвостик белеет *(пытается ущипнуть Капу)*.

Капа. Я вам не болонка, господин полицмейстер.

Полицмейстер *(щекочет Капин подбородок)*. Какая ты строгая, Капочка!

Капа. Уберите руки!

Полицмейстер. Смотри, убежала! Дверь закрой!

Капа. Поздно *(уходит вслед за собакой)*.

Полицмейстер подходит к роялю, садится, играет. Входят Мигунов и Тюрин. Они в солдатской одежде, без погон.

Мигунов. Здравия желаю, ваше превосходительство!,

Тюрин. Здравжелвашство!

Полицмейстер *(оборачивается)*. Что?

Мигунов. Осмелюсь доложить: отставной поручик Мигунов... Я писал вам, просил аудиенции.

Тюрин. Бывший надзиратель Тюрин, вашество.

Полицмейстер *(приходит в себя)*. Кхе-кхе! Что за маскарад, господа?

Тюрин. Нельзя пробраться вашество, кругом товарищи.

Полицмейстер. Садитесь, господин Мигунов. Я помню вашего

батюшку, моего большого друга. Знаю ваш проступок и не одобряю. Легкомыслие! Мальчишество! Костюшко — важный политический преступник, у него, извольте знать, высшее военное образование. Он еще наделает нам тарараму *(звонит телефон, полицмейстер берет трубку)*. Да, слушаю. Так! Так! Кто разрешил, я вас спрашиваю? Господин Цупсман? Я категорически против. Ка-те-го-ри-чес-ки! Будем судить, как военного преступника. Да-с! *(кладет трубку, возвращается к роялю)*. Вот-с, полюбуйтесь, начальник железнодорожной станции господин Цупсман самолично распорядился увеличить количество солдатских эшелонов, идущих в Россию. А каждый эшелон маньчжурской армии—бочка с порохом к петербургскому фитилю.

Мигунов. Готов служить верой и правдой, ваше превосходительство!

Тюрин. До последнего дыхания, вашество!

Полицмейстер *(увидел болонку)*. А вот и Шельмочка! *(ловит, берет на руки)*. Так вот, господа, большевики— опасная сила, но ненадолго. Сухая гроза, если можно так выразиться. По некоторым сведениям, Костюшко-Валюжанич находится в Чите. Я полагаю, вы не зря сюда приехали?

Мигунов. Непременно, ваше превосходительство.

Тюрин. Сплю и вижу этого каторжника.

Полицмейстер. Вам дается прекрасная возможность искупить свою вину, восстановить добрые имена. Как? Это ваша инициатива. Полагаю, целесообразней не прямой террор, а взрыв изнутри, некий троянский конек. Вы, кажется, в свое время, были актером, господин Мигунов?

Мигунов. В любительских театрах, ваше превосходительство.

Тюрин. Я без артистов самого черта обману.

Мигунов. Разрешите исполнять, ваше превосходительство?

Тюрин. Рады стараться, вашество!

Полицмейстер. Я надеюсь... *(звонит телефон, полицмейстер берет трубку)*. Слушаю. Так. Так! Так!! Что? Бе-зо-бра-зие! Какая наглость! Принять срочные меры. Догнать! Арестовать! Доложить! *(бросает трубку)*. Неслыханно! *(обращается к Мигунову)*. Вот вам и товарищи! На Дальнем вокзале пытались ограбить склад с оружием. Подозревают — дело рук вашего Костюшко. Понимаете, господин Мигунов?

Мигунов. Клянусь честью, ваше превосходительство: Костюшко будет в моих руках.

Тюрин. Умрем, а пымаем, вашество!

Полицмейстер. С богом, господа, не теряйте времени.

Мигунов и Тюрин уходят. Полицмейстер садится за рояль. Тихая плавная музыка.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

На занавесе вспыхивает надпись: «Дальний вокзал». Октябрь—ноябрь 1905 года. Вокзал забит солдатами — они едут из Маньчжурии. Раненые, в бинтах, на костылях.

Солдатам не хватило места на вокзале, они набились в один из полуразрушенных цехов. В цехе стоит разобранный паровоз, лежат трубы, шланги, колеса. Сидят Ракитин, Карпуша, Эрдыни, Хаджи-Гирей в бурке. Слышится хриплая песня под гармошку.

От павших твердынь Порт-Артура,
С кровавых маньчжурских полей,
Калека солдат изнуренный
К семье возвращался своей.

Ракитин *(отставляет костыль, достает кисет)*. Эй, гнусавый, хватит ныть!

Песня умолкает.

Эрдыни. Эй-я! Юрту приеду, мясо-бухлер есть буду, вино-аракушку пить буду. Потом степь поскачу. Семь дней скакать буду.

Ракитин. Буряточка есть?

Эрдыни. Цэ-цэ! Как пенка, што лама ест.

Карпуша. Так на тебя и бросилась.

Хаджи-Гирей. Почему нас не пускают? Мине вошь кругом. Крупный, как урюк.

Эрдыни. Мои вошь больше, однако, с пельмень будет.

Ракитин. Мне, братцы, до Костромы ползти. А дома ни семьи, ни земли. Одна хата и та исполу взята.

Эрдыни. Нашу степь иди.

Карпуша. Эка радость средь зверья жить.

Хаджи-Гирей. О, аллах! Когда дома буду?

Ракитин. Боженька, боженька, болит моя ноженька.

Эрдыни. Где рану искал?

Ракитин. Она меня нашла. Под Ляояном бабахнуло. Прижал нас япошка, веришь, головы не поднять от шимоз проклятых. Ну, лежи, не лежи — вставать надо. Взяли мы их на ура да в штыки. Как говорится, кто храбр да стоек—десятерых стоит. Хорошо так вышло, япошки, знай, задним местом посверкивают. А тут приказ: вертай на старые позиции.

Эрдыни. У нас на реке Махэ так было.

Хаджи-Гирей *(проводит рукой по горлу)*. Где не было? Под Мукденом наш полк — хе! Одна бурка осталась.

Ракитин. А братиков-матросиков крабы в Цусиме гложут.

Входит Мигунов, теперь Хурнов. Одет в бушлат, на

голове бескозырка с надписью «Крейсер «Светлана». Старая тельняшка, широкие брюки-клеш. На боку наган на длинных ремнях.

Хурнов. Кто тут матросиков шевелит? *(Смотрит на Ракитина.)* Ты, што ль, старик?

Карпуша. Как бы тыкало не сломал.

Хурнов. А, лампасник. Задраивай свой трюм! *(К Ракитину.)* Курнуть не дашь, батя?

Ракитин *(протягивает окурок)*. Курни, братишка. Морячков я уважаю. Много их потопло.

Карпуша. Эк раскудахтались! Послушать вас — храбрей япошек никово нету. Герои на костылях! Кабы пехтура не подгадила, мы б накрошили желтоскулых.

Ракитин. Ты б накрошил, панихида чубатая. Видать, впереди генералов драпал. Рожа-то — кирпичом не расколешь.

Карпуша *(хватается за шашку)*. Ах, ты, кацап немазаный! Да я тебя на две половинки!..

Ракитин. Видали мы чалдонов. Эрдыни пужай, может, забоится.

Эрдыни. Мы из него аргал делать будем.

Карпуша *(подходит к Эрдыни, хватает за грудь)*. Ты што, шкура косоглазая? Забыл, как вас пороли?

Эрдыни *(вырывается)*. Не трожь, русская собака! *(выхватывает наган)*. Теперь мы вас пороть будем!

Хурнов *(встает между Карпушей и Эрдыни)*. Эй, селедка, на два румба влево.

Карпуша *(бьет Эрдыни)*. На, жри, бурятская собака!

Хурнов подставляет Карпуше подножку, бьет по шее ребром ладони. Карпуша падает.

Хурнов. Полундра!

Входят Бабушкин, Ванштейн, Татьяна. На руках у них красные повязки. Бабушкин помогает подняться Карпуше.

Бабушкин. Что за шум?

Хаджи-Гирей. Не видишь, лезгинку танцуем?

Ракитин *(стонет)*. Э... чертушка!..

Татьяна *(достает из сумки бинт, вату)*. Вам плохо? Давайте перевяжу *(перевязывает)*.

Карпуша *(поднимается, хочет застегнуть порванный ворот)*. Откель, дядя, тебя черти притащили? Не дал кокнуть бурятенка.

Ванштейн. Рабочий патруль!

Карпуша *(удивленно)*. Патруль? Жиденок ты, а не патруль.

Бабушкин *(Карпуше)*. Предъяви документы.

Карпуша. Чево ешо! Но-но, не очень, сам покажу *(показывает)*.

Бабушкин *(смотрит документ)*. Что ж ты, казачок, такой несознательный? Буряты, евреи, чем они хуже нас, русских? Вы же в одних окопах сидели за царя-батюшку.

Ракитин. Пошел бы этот батюшка к такой-то матушке.

Бабушкин *(увидев Хурнова)*. А ну, морячок, покажи документ *(смотрит)*. Крейсер «Светлана»? Хорошо с японцами дрался. Будем знакомы, Бабушкин.

Хурнов *(протягивает руку)* Семен Хурнов!

Бабушкин. Что ж не по-военному, морячок? Мало, видать, дрессировали.

Вбегает Капа.

Капа. Товарищи! Все на митинг! *(Увидела Татьяну)*. Ты здесь, Танюша? Иван Васильевич... А я думала...

Карпуша *(приглядывается к Капе)*. А ведь это Капа? *(бросается к ней)*. Капочка!

Капа. Вася? Жив, значит...

Карпуша. А ты што, в мертвых меня числишь? У меня, гляди, два Георгия... Да я не об этом... Ты же знаешь...

Капа. После поговорим.

Карпуша. После — некогда, разве на том свете. Гляди заваруха какая! Мигом чуб с головой отсекут *(тащит Капу в сторону)*. Давай в сторонку, я тебе такое скажу...

Входят Костюшко и Столяров.

Костюшко. Я вас ищу, товарищи. Давайте начинать *(Бабушкину)*. Ваня, ты к солдатам?

Бабушкин. В казармы.

Костюшко. Таня! Исай! Вас ждут телефонисты. Я и Столяров останемся здесь.

Хурнов *(Татьяне)*. Барышня, разрешите в качестве личной охраны? *(напевает: «Эх, яблочко, да куда котишься, в Порт-Артур попадешь, не воротишься»)*.

Татьяна. Идемте, кавалер!

Бабушкин, Татьяна, Ванштейн, Хурнов уходят. В цех вваливаются солдаты, казаки, железнодорожники. На паровоз поднимаются Костюшко и Столяров.

Костюшко. Товарищи рабочие, солдаты, матросы, казаки...

Капа. И революционные женщины...

Костюшко *(улыбаясь)*. И революционные женщины! Поражение царского правительства в русско-японской войне всколыхнуло народные массы на борьбу с самодержавием. Товарищ Ленин призывает к объединению всех действительно революционных сил, к созданию общероссийского политического центра, живого, свежего, сильного, дружно пус-

тившего корни в народ. Такой центр должен быть из вас, из ваших товарищей. Вы решаете судьбу России. Кому дать слово?

Капа. Мне!

Карпуша (*хватает за рукав*). Куда прешь, дура!

Капа. Пусти, Василий!

Ракитин. Не цепляй бабочку. Вишь, какая вострая.

Капа поднимается на паровоз.

Капа. Я от имени женщин...

Вблизи раздаются два взрыва. Все замирают в ожидании. Распахивается дверь, на пороге — Хурнов с Татьяной на руках. За ним Тюрин, несколько солдат, рабочих.

Хурнов. Што же это, братишки! В нас бомбы кидают, а мы...

Костюшко (*сбегает с паровоза*). Таня!..

Татьяна. Все хорошо, Антон.

Хурнов (*вскакивает на ящик*). Братишечки! Докелева терпеть эту контру! На штыки буржуев!

Первый голос. От стрижет!

Второй голос. От бреет!

Капа (*отстраняет Костюшко*). Разрешите, Антон Антоныч (*осматривает Татьяну, бинтует голову*).

Костюшко. Это серьезно?

Капа. Чуток тронуло.

Костюшко (*пожимает руку Хурнову*). Спасибо, товарищ. Как вас зовут?

Хурнов. Семен Хурнов (*показывает на Тюрина*). Ему спасибо говорите.

Костюшко (*пожимает руку Тюрину*). И вам спасибо, товарищ (*ко всем*). Митинг прекращается. Дружинники, за мной!

Все торопятся к выходу. Хурнов и Тюрин идут рядом с Костюшко. Капа и Ракитин уводят Татьяну.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Декабрь 1905 года. Близится рассвет. Туманно видятся угол и дверь кирпичного склада. Возле склада ходит часовой. Слева от часового появляется Эрдыни, справа — Хаджи-Гирей.

Часовой (*в сторону Эрдыни*). Стой! Кто идет!

Эрдыни. Свои. Чиво кричишь?

Часовой *(клацает затвором)*. Стой! Стрелять буду!

Хаджи-Гирей подкрадывается к часовому, валит его, затыкает рот кляпом.

Хаджи-Гирей. Говорят, чиво кричишь *(трижды свистит)*.

Появляются Костюшко, Бабушкин, Ракитин, Капа, Хурнов.

Костюшко. Оцепить склад! Смотреть в оба!

Бабушкин и Ракитин сбивают замок. Все бросаются в склад, вытаскивают ящики с оружием.

Бабушкин. Торопитесь, товарищи!

Слышится стрельба, крики: «Казаки!»—«Окружают!»—«Отходите!» Хурнов расстегивает полушубок, снимает рукав, что-то льет на руку.

Хурнов *(стонет)*. Ах, гады!..

Капа *(увидела кровь)*. Кровь? Ты ранен, Сеня?

Хурнов. Ерунда.

Капа *(достает бинт)*. Давай руку.

Хурнов. Ах, сволочи... Ладно, обойдусь!

Капа *(решительно)*. Сеня... Ну, Сенечка...

Капа делает Хурнову перевязку. Слышатся выстрелы.

Костюшко. Все взяли?

Ракитин. Кажись все.

Костюшко *(Бабушкину)*. Ваня, оружие в мастерские! Со мной остаются: Хурнов...

Капа. Товарищ Костюшко! Сеня ранен!

Хурнов. Слушаюсь, остаться, товарищ Костюшко!

Костюшко. Эрдыни!

Эрдыни. Я!

Костюшко. Хаджи-Гирей!

Хаджи-Гирей. Я!

Появляются солдаты. Впереди—Карпуша. Целится, стреляет. Костюшко и его товарищи, отстреливаясь, отступают.

Карпуша *(кричит)*. Где они? Удрали, гады! Главарей брать живьем!

Сцена пустеет. Постепенно высвечивается тот же цех. По цеху прохаживается Тюрин, в тулупе, с винтовкой.

Тюрин. Ране заключенных сторожил, теперь вот кукушку карау-

лю. Паровоз, оно, конешно, смирней арестантиков, особливо, когда сломатый. Спасибо Костюшко, что на должность эту определил.

Подходит к двери, прислушивается.

Штой-то бывшая благородия не является *(хихикает)*. Теперь мы с ним на одних правах — на птичьих. Подвели благородию макароны рестанские. Как в воду смотрел я, про пилку-то.

Садится, закуривает.

Н-да, ловко у нас вышло. Слышу —бабах! Меня так и шибануло. Прям на ее, на бабу Костюшкину *(хихикает)*. Мягко. А благородия-то не растерялся. Хвать и попер. Тащит на себе, как пушинку. И все-тки смех и грех с ним. Скажешь так-то: «благородия» — чисто змей взовьется *(хихикает)*. А мне што, из-за ево страдаю.

В дверь громко стучат. Голоса: «Открывай!»—«Шевелись, дедка!».

Тюрин. Кто это прет в такую рань?

Подходит к двери, отодвигает засов. Входят Костюшко, Бабушкин, Ракитин, Эрдыни, Хаджи-Гирей. Ракитин чуть прихрамывает.

Вносят ящики с оружием.

Бабушкин. Здравствуй, дед. Принимай гостинцы!

Тюрин. Штой такое?

Костюшко. Оружие, дедушка.

Тюрин. Зачем оно мне. Я к оружию не приставлен.

Костюшко *(обнимает Тюрина за плечи)*. Ты, Михей Иваныч, к революции приставлен *(снимает рукавицы)*. Возьми мои, они теплее. Танюша вязала, она, брат, у меня мастерица. Как победим, посажу тебя на печку, пряниками буду кормить.

Бабушкин. За что такая честь?

Костюшко. Таню мою спас.

Бабушкин. Неужто? Я думал, Геркулес какой. Что ж, за это стоит *(к товарищам)*. Отдыхайте, ребята, хорошо ночку провели.

Ракитин. Как говорится, встанешь пораньше — шагнешь подальше.

Костюшко *(смеется)*. С твоей ногой только шагать.

Эрдыни *(вздыхает)*. Эй-я! Домой надо. Бухлер есть, аракушку пить. Степью пахнет.

Хаджи-Гирей. Мне Тифлис надо, Кура от слез высохла.

Входят Цупсман и Ванштейн.

Цупсман. Здравствуйте, товарищи. Едва нашли вас.

Костюшко. Что случилось, Эрнест?

Цупсман. Эшелон оружия в тупик загнали. Разгрузить надо.

Хаджи-Гирей. Некогда грузить. Домой хочу.

Эрдыни. Почему ты один? Все хотят.

Ванштейн. Подождать надо, товарищи, революция развивается. Не сегодня-завтра восстанет Читинский гарнизон.

Ракитин. Как говорится, дела, как сажа бела.

Бабушкин. Исай правильно говорит: кто революцию будет делать, если не вы. Ленин говорил мне в Лондоне: без рабочих, крестьян и солдат никакой революции быть не может.

Ракитин *(удивленно)*. Неужто Ленина знаешь?

Бабушкин. Знаю. Вместе в Петербурге работали.

Ракитин. Мне про него один товарищок в Харбине рассказывал. Голова, говорит, с котел, а ума — палата.

Костюшко. Ваня, расскажи товарищам, как ты в Лондон к Ленину пробирался.

Бабушкин. Длинная история. Как-нибудь потом.

Эрдыни. Расскажи, очень просим.

Хаджи-Гирей. Домой приедем — все знать будут.

Бабушкин. Садитесь, покурите. Было это в Екатеринославе *(кивает на Костюшко)*. Мы там с Антоном кой-какими делами занимались. Сцапали меня жандармы, за решетку сунули. Сижу, думаю, взвешиваю обстановку с точки зрения перемены климата. А тут пилочку сумели передать. Подпилил я решетку и деру.

Решил к Владимиру Ильичу податься, он и раньше приглашал меня. Все бы хорошо — ни одного иностранного языка не знаю. И денег не густо. А пройти нужно через Польшу, Германию, Австрию. До Франции добраться. А там — через Ла-Манш — канал английский. И тут тебе Лондон и товарищ Ленин.

Ракитин. Ох-хо-хо! В Ерусалим и то легше.

Бабушкин. В Польшу прошел с контрабандистами, поездом доехал до Штутгарта. Щеку завязал, будто зуб ноет, и глухо так говорю: «Штутгарт, Штутгарт... битте, битте». А сам шляпу на глаза натягиваю.

В Штутгарт из Варшавы мне адресок дали, к какому-то Дитцу. Вроде он ленинский адрес знает.

Добрался кое-как до немца, говорю: «Рихтер! Рихтер!» Под этой фамилией Владимир Ильич в Лондоне жил. А немец фыркает, глаза на меня таращит: «Я член рейхстага и с подозрительными лицами дел не имею». А я опять ему Рихтер да Рихтер. И все думаю: не скажет, где Рихтер, пропала моя головушка.

Сказал все-таки, сквозь зубы выдавил: «Холфордсквер, 30». И дверью перед носом хлопнул. Потом еще приключения были. Словом, добрался я до Лондона, встретился с товарищем Лениным.

Эрдыни. Что там делает?

Бабушкин. Партию сплачивает, думает, как лучше капиталис-

тов до конца уничтожить, рабочий класс у власти поставить. Как-нибудь я вам подробней расскажу, книжки дам почитать.

Ракитин. И што там у его? Поди, дворец красный?

Бабушкин *(усмехаясь)*. У революционеров дворцы казенные, с решетками. Николашка позаботился. А жил Владимир Ильич на квартире, работал много. Редко приходилось встречаться. Вот насчет вас прямо говорил: без солдат не может быть революции.

Хаджи-Гирей. Говоришь, друг Ленину?

Бабушкин. Выходит, так.

Пауза.

Цупсман. Как же насчет разгрузки, товарищи?

Ракитин *(поднимается)*. Чево как? Товарищ Ленин думает, как революцию покрепче сделать, а мы пузо чешем. Пошли, ребята! Мигом распатроним.

Эрдыни. Эй-я! Помогу товарищу Ленину.

Хаджи-Гирей. А я рыжий, что ли?

Все выходят. Костюшко задерживается.

Костюшко. До свидания, Михей Иваныч, к нам заглядывай *(весело)*. А то совсем перебирайся. Танюша будет рада.

Тюрин. Премного благодарны. Оружию эту куда?

Костюшко. Утром рабочие придут, спрячут. О приглашении не забывай. *(Уходит)*.

Тюрин закрывает дверь на засов.

Тюрин. Чудное дело творится с тобой, Михей. Неровен час, товарищи начальником сделают. А што? Благородия-то, кажись, вверх карабкается, Костюшкину бабу обхаживает. А Капка-дуреха за ним, как нитка за иголкой. Сильна благородия по женской части. А с другой стороны, чем я хуже? Ежели ихняя власть перетянет — у меня заручка *(хихикает)*. Не то, што ихняя благородия, ее никакой щеткой не отскребешь.

Слышится троекратный стук.

Тюрин. Кажись, явились.

Стук повторяется. Тюрин открывает засов. Входят Хурнов и Карпуша. На Карпуше полушубок, шапка, валенки. Хурнов в бушлате, ботинках. Левая рука на перевязи.

Хурнов *(приплясывая)*. Чертова холодина! Градусов пятьдесят будет.

Карпуша. Пятьдесят, не пятьдесят, а тридцать с ветерком. Не греет разлетаечка?

Хурнов. Я им припомню этот бушлатик.

Тюрин *(хихикает)*. В Иркутске теплее было, ваша благородия.

Хурнов *(зло)*. Ну, ты, скот, не забывайся! Я дворянин, кроме всего прочего. Мой папа был не чета полицмейстеришке. А ты люмпеном был, им и сдохнешь.

Карпуша. Служили вместе?

Хурнов *(оглядывает ящики)*. Приходилось... Так, товарищи были, оружие привезли.

Тюрин. Руку-то где царапнуло?

Хурнов. При исполнении революционных обязанностей... А эта дура вцепилась, как черт в душу грешника.

Карпуша *(грустно)*. Любит вас Капка, ей всегда моряки нравились. А я два года валандался и все попусту. Теперь и вовсе доступу нету. Не та, говорит, политическая линия. Эх, и доберусь я до этой линии!

Хурнов. Весьма счастлив от ее любезности.

Карпуша. Я понимаю, не нужна она вам.

Тюрин. Не журись, казачок, поправится дело. Прилетишь домой, такую красотку подцепишь!

Карпуша *(скрипит зубами)*. Черта лысого подцепишь! Спалили дом товарищи, будто век не стоял. Ну, погодь, посчитаюсь я с ними. Седни троих кокнул, когда склад отбивали. За каждое бревнышко по десятку уложу, на их косточках дом отгрохаю.

Хурнов *(Тюрину)*. Ты, Тюрин, за Бабушкиным следи, Костюшко беру на себя.

Тюрин. Все они одним миром мазаны. Што Бабушкин, што Костюшко, што лысый этот... Шкуратовский.

Хурнов. Курнатовский.

Тюрин. Можа, и так. Была бы моя воля — всех бы к стенке.

Карпуша. Дом пятистенный перед войной отгрохал — всем на завидку. Два рысака — разлюли-малина. Бывало, сяду в саночки, Капку в охапку и... э-э-й, сивки-бурки! *(скрипит зубами)*. И все в тартарары, в гиену огненную. Ни дома, ни лошадей, ни Капки...

Тюрин *(вздыхает)*. У меня, может, поболе твово было. Дом каменный, в шкатулке кой-што лежало *(оживляясь)*. У купчишки одного такую кралю отбрил — краше солнышка. Право-слово! *(Вспомнив)*. Да, вот што: службу требуешь, а денег даешь — на табак не хватает.

Хурнов. Пополам делим.

Тюрин *(злится)*. Врешь, благородия! Третью часть жалуешь.

Хурнов *(замахивается)*. Поговори у меня!

Тюрин. А ты не махай, пужаться некому.

Карпуша *(подходит к ящику)*. Ну-ка, подмогни, служивый.

Тюрин *(насторожившись)*. Чевой-то?

Карпуша. Ящики на двор вытащить.

Тюрин. Ет зачем?

Карпуша. В другое место определим. Не товарищам оставлять.

Тюрин. Ет не дело, господин казак. Люди придут, с меня спросят: где оружия? А я им кукиш с маслом? Тут же кокнут.

Хурнов *(выхватывает наган)*. Берись, говорят! Нужно будет — скроешься.

Тюрин. Нет моего согласия!

Карпуша *(выхватывает наган, приближается к Тюрину)*. Ах, ты, гнида загашная! И нашим, и вашим! *(Взводит курок)*. Ну!

Тюрин *(бросает винтовку, садится на ящик)*. Дурьи вы головы! Мякина у вас в башках. Возьмете вы ящики эти. И што? А товарищи пошли шалон оружья разгружать.

Карпуша. Врешь, сивый!

Тюрин. Лучше соври. Своими ушами слышал.

Хурнов. М-да, ситуация.

Карпуша *(прячет наган)*. Ваше благородие! В казарму надо бежать, своих подымать. На месте защучим.

Хурнов. Идея! Пошли! *(Уходят)*.

Тюрин закрывает дверь.

Тюрин. Осподи, осподи, помилуй мя! Не знаешь, от каких смерть примешь.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Паровозный цех. Солдаты, казаки, матросы шумно разговаривают. Слышатся крики: «Шалон подают!»—«Четвертый кавалерийский — на погрузку!»—«Ванька, черт конопатый!»—«Тута я!».

Входят Татьяна, Хурнов. Они рабочий патруль. У Хурнова рука на перевязи.

Хурнов. Посидим, Таня. Эту кашу за сто лет не расхлебаешь *(садятся)*.

Татьяна. Разберутся. Революция всех определит.

Хурнов. Ползет Расея, будто краб по дну. Темным-темно, ни черташеньки не видно. А все ползет, щупальцами правду ловит.

Татьяна. Пожалуй, верно.

Хурнов. Был в аду, в самом пекле. Жахнул в нас япошка — пух и перья полетели. Глазом не моргнул, как в воде очутился. Сутки болтался, пока не подобрали. Врагу своему не пожелаю.

Татьяна. Не пойму я вас, Хурнов. То «братишечка» из вас прет, то интеллигентик выглядывает.

Хурнов. Интеллигентом от меня не пахнет. Истинный пролетарий... Я, Таня, о другом хочу сказать... Душа у матроса прямая... Люблю я тебя. С тех пор, как на руках нес. Все глаза твои мерещаться. Сердце на якоре, никакой шторм не оторвет.

Т а т ь я н а *(встает)*. Глупости, Хурнов. Пойдемте.

Х у р н о в. Таня! Честное флотское! В Тихий океан брошусь!

Т а т ь я н а. Есть места поближе.

Слышен шум. В кругу солдат Енька Звонарь танцует матросский танец.

Эх, яблочко, сбоку зелено,
С анархистами гулять мне не велено!

Х у р н о в *(подходит)*. Что за шум, а драки нет? А-а, матросик разоряется *(расталкивает солдат)*. Эй, медуза! Разве так танцуют? *(Выходит на круг)*.

Эх, яблочко, куда котишься,
В Порт-Артур попадешь,
Не воротишься!

З в о н а р ь. Ловко драит камбузник. Рука на привязи, а ноги болтаются. Давай в нашу кают-компанию.

Х у р н о в. В какую?

З в о н а р ь. В самую анархистскую.

Х у р н о в. Не по пути, братишка.

Слышны крики: «Сто пятый артиллерийский! По вагонам».— «Хведор, тащи ранец!»

З в о н а р ь. Большевичок, значит? Ну, и катись... к японскому богу!

Т а т ь я н а. Раненые есть?

Г о л о с из угла. Сюда, сестричка!

Х у р н о в *(Звонарю)*. Предъяви документ, анархист.

З в о н а р ь. Повтори, що ты сказал! Мои уши золотом завешены.

Х у р н о в. Смеюсь, братишка. Пойдем, покурим *(отходят в сторону)*.

З в о н а р ь. Що ты хочешь, якорь тебе в глотку?

Х у р н о в (тихо). Ша, Алеша! Чего зеваете? Начальство шесть эшелонов пустило, своих в Расею перебрасывает. Начальник станции— немец, фамилия Цупсман. Вы ему колосник на шею...

З в о н а р ь. Тю-тю-тю! А ты, значит... Полный вперед, братишка. Мы им устроим Цусиму!

Возвращается Т а т ь я н а.

Т а т ь я н а. Чего он бесится?

Х у р н о в. Известно, анархист. У их все идеи в глотке.

Т а т ь я н а *(усмехаясь)*. Хорошо сказано. Вы иногда оригинально мыслите.

Х у р н о в *(радостно)*. Так я и говорю, Таня... У нас родственные души. Мы, как цепь с якорем!

Т а т ь я н а. Я совсем о другом. Да, вспомнила, мне к Эрнесту надо зайти *(уходит)*.

Входит Капа.

Капа. Сеня?

Хурнов. Так точно, ваше медицинское сиятельство! *(поет)*.

Милка, лебедь белая,
Куда с ведерком бегала?
Милый мой, не за тобой,
На колодец за водой.

Капа. Сеня, руку больно?

Хурнов. Заживает, как на матросе *(поет)*.

Чья-то роща зеленеет,
Поле не горожено?
Чем ты, милка, недовольна?
Каждый день провожена.

Капа. Сеня, давай руку перевяжу.

Хурнов. Не надо, сама заживет... Скажи, Капа, ты любишь меня?

Капа *(растерянно)*. Не... не знаю.

Хурнов. Любишь, по глазам вижу. Мы, матросы, — народ завлекательный *(мечтательно)*. Кончится война, пойду в военные министры. Клеш сошью — самый разнаилучший. Ты у меня — за главного помощника. Сядем, значит, на дредноут и ширк по всем странам. Захожу к японскому императору — бомбы на поясе. А ну, косоглазый, слазь с престолу. Полундра!

Капа *(не слушает)*. Я пошла.

Хурнов. Постой, Капа, это я смехом. Я тоже тебя люблю. Крепко, по-матросски.

Капа. Не верю я тебе, Сеня. Когда любят — не смеются.

Хурнов. Эх, сестренка! Да я... давай поцелую *(целует)*.

Капа. Пусти!.. *(вырывается, убегает)*.

Хурнов. Концы отдала. Ну и... бог ее любил *(поет)*.

Посылала меня мать
В огород за редькой.
А я вышла погулять,
Простояла с Петькой.

Занавес

Ночь. Комната дежурного по станции. Стучит аппарат, поет зуммер — это за стеной. В дежурке дымит железная печка. За столом спит Цупсман, перед ним фонарь с красным светом. Звонит телефон.

Цупсман *(в полусне)*. Вагонов нет, паровозов нет *(засыпает)*.

Входит Капа.

Капа. Товарищ Цупсман...

Цупсман *(бормочет)*. Вагонов нет, паровозов нет *(просыпается)*. А? Что?

Капа. Извините, мне сказали, будто Сеня у вас *(уходит)*.

Входят Столяров и Ванштейн.

Столяров. Спит.

Ванштейн. Третьи сутки на колесах.

Столяров. Жалко будить, а надо: разнесут вокзал анархистики.

Ванштейн. Подождем. Пойду, поговорю.

Столяров. Напрасно, Исай. Теперь они — стадо буйволов. Пронюхали: шесть эшелонов отправляет Цупсман вместо четырех. А их взаперти держит.

Ванштейн. Я попытаюсь.

Столяров. Одного не пущу: молод и горяч. Идем вместе *(уходят)*.

Входит Татьяна с узелком в руках. Видит спящего Цупсмана. Присаживается на скамейку. Звонит телефон.

Цупсман *(вскакивает)*. А? Что? *(берет трубку)*. Вагонов нет, паровозов нет. Не знаю, когда будут... Что? Кто? А, здравствуй, Антон. Я думал просители. Насобачился, как автомат. Татьяна? Нет, не приходила.

Татьяна. Я здесь, Эрнест.

Цупсман *(удивленно)*. Здесь она, Антон. Я спал, она караулила. Не меня, железную дорогу. Что? Анархистики бушуют? Справимся, на рожон не полезем. Хорошо.

Татьяна. Я тебе поесть принесла, Эрнест.

Цупсман. С ума сошла, товарищ Жмуркина. Нельзя так рисковать.

Татьяна. Была Жмуркина, теперь — Костюшко *(развязывает узелок)*. Не думай, ничего особенного: каша, Антоновы макароны.

Цупсман. Ну, если так случилось — давай... *(ест)*. Вкусно. Кончится война, попрошусь на макаронную фабрику. Каждый день буду присылать вам по ящику.

Татьяна. Антон их так любит.

Слышится шум, в дежурку вваливаются анархисты, впереди Звонарь в матросской форме. На бескозырке надпись: «Бородино». С ними связанные Ванштейн и Столяров.

Звонарь. Извинись, подвинься. Кто здесь главный?

Цупсман. Я помощник начальника станции. С кем имею честь?

Звонарь *(кивает на Столярова и Ванштейна)*. Не желаете такой камуфляжик?

Цупсман. Что вам угодно?

Звонарь. Нам угодно: вагончики, паровозик... *(взмахивает наганом)*. Понятно, швабра немецкая!

Цупсман. Сейчас же освободите Столярова и Ванштейна!

Звонарь. Ваши товарищи жиды... *(кивает)*. Жидов к стенке!

Столярова и Ванштейна уводят.

Звонарь. Так вот, я анархист анархистов Енька Звонарь, даю вам три... нет, две минуты на воспоминание о вашем детстве...

Татьяна пытается позвонить по телефону. Звонарь отбирает трубку.

Татьяна. Мне нужно позвонить.

Звонарь. Ша, голубка! Мои ребятишечки охочи до женской половины *(смотрит на часы)*. Минута улетучилась.

Татьяна вынимает из муфты пистолет, стреляет в Звонаря. Цупсман бьет рукой по фонарю — гаснет свет. Кричит: «Берегись, граната!» Слышится шум, крики: «Девку не пускай!» «Души немца!» «Режь евреев!» Вбегают Костюшко, Бабушкин, Ракитин, Эрдыни, Хаджи-Гирей. Костюшко и Бабушкин светят фонариками.

Костюшко. Таня!

Татьяна. Я здесь, Антон.

Бабушкин. Ребята живы?

Цупсман. Не знаю.

Костюшко. Ракитин! Эрдыни! Хаджи-Гирей! Осмотреть вокзал!

Ребята убегают. Цупсман зажигает второй фонарь. Татьяна стоит с пистолетом в руках. Звонаря нет.

Бабушкин. Ты стреляла?

Татьяна. Я. Видно, промахнулась.

Бабушкин. Опасно играешь, Таня. Это же зверье.

Цупсман. Здорово это зверье выскочило.

Татьяна *(смеется)*. Эрнест их напугал: «Берегись, граната!»

Входят Столяров, Ванштейн, Эрдыни, Хаджи-Гирей.

Бабушкин. Живы, товарищи!

Столяров. Еле-еле душа в теле. Говорили чудаку: «Не ходи к буйволам». Нет же, Цицерон да и только.

Ванштейн. Если б не Звонарь...

Цупсман. Теперь по Звонарю похоронную звонят.

Костюшко. Таня, у тебя макарон не осталось?

Цупсман. Все съел. На сытый желудок помирать легче.

Бабушкин. Тебе, Эрнест, одному оставаться нельзя.

Костюшко. Надо кого-то прикомандировать.

Ракитин. Коли што... я могу подежурить, беда не велика. Как говорится, сам погибай, а товарища выручай. Глядишь и мой эшелон подойдет.

Эрдыни. Мне все равно, где спать. Ночь ночую — степь поеду.

Хаджи-Гирей. Моя бурка самая теплая. Отправишь нас, товарищ начальник?

Цупсман. В мягком вагоне, как фон-баронов.

Костюшко. Спасибо, ребята! Пошли, товарищи!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Паровозный цех. В нем — Ракитин, Эрдыни, Хаджи-Гирей.

Эрдыни *(поет)*.

Дует ветер, юрту студит,
Неужели друг забудет,
Неужели оробеет,
Сердце сердцем не согреет.

Хаджи-Гирей. Не так поешь *(поет)*.

В лазури небесных вод
Нам жаворонок поет.
Твой рот — встреча двух радуг,
Поцелуй мне твой сладок.

В очах твоих солнце живет,
А дуги бровей — небосвод,
Твой рот — встреча двух радуг,
Поцелуй мне твой сладок.

Эрдыни *(Ракитину)*. Слушай, Ракита, почему ты держал меня? Сегодня бы в степь скакал.

Ракитин. Не держу я тебя, Эрдыни. Как говорится, вольному воля, а спасенному рай. Некуда мне голову преклонить.

Эрдыни. Как не держишь? Сказал останусь, я тебе друг — как не останусь?

Хаджи-Гирей. Говорит мне начальник, ласково говорит: «Хаджи, дорогой, любой вагон садись, как фон-барон поедешь». Я што? Друзей жалко.

Ракитин. Большевички, они дельные мужички: глубоко пашут, мудро сеют. Знают, чево хочут: слободы. За слободу человек человека сыздавна волком грызет.

Входит Татьяна.

Татьяна. Здравствуйте, мужики, я вам поесть принесла.
Ракитин. Кажись макаронами пахнет.
Татьяна. Угадали. И каша гречневая с маслом.
Эрдыни. Эй-я! Бухлер надо.

Солдаты едят.

Татьяна. Что ж вы не уехали?
Эрдыни. Ракита виноват. Мне с Карпушкой встретиться надо.
Хаджи-Гирей. Я в Капку влюбился.
Татьяна. Хорошие вы ребята. Скажите прямо: в революцию влюбились. Давайте споем *(запевает)*.

Шумит и плещет Ингода,
Заря над сопками пылает.
Над нами кружится беда,
Но нас она не испугает.

Мы смело выстоим в бою
И уничтожим вражью стаю.
Любовь и молодость свою
Мы отдадим родному краю.

Входит Капа, растерянная, подавленная.

Капа. Иду, слышу, песню поют. Твой, Таня, голос услышала. Антон Антоныч не приходил?
Татьяна. В казармах на митинге. Рассказывай, что знаешь. Замучились мы с этими дежурствами.
Капа. Дела хорошие *(подает газету)*. Вот свежий номер «Забайкальского рабочего». Молодец Курнатовский, правильную линию держит. Восстал читинский гарнизон, с нами теперь солдатики. Железная дорога в наших руках, скоро почта и телеграф сдадутся.
Татьяна. Это мы знаем. Что ж ты невеселая такая? Плясать надо.
Хаджи-Гирей. Давай, Капа, танцевать будем *(танцует лезгинку)*.
Капа. Хорошо, Хаджи, пляшешь, только я в другой раз.

Входят Костюшко и Столяров. В руках у Столярова высокий детский стульчик.

Костюшко. Победа, товарищи! Только что взяты почта и телеграф.
Татьяна. Ура!

Все кричат «ура».

Столяров. Куда бы эту штукенцию приспособить?

Костюшко. Посмотри, Танюша, что нам товарищ Прокофий подарил. В прошлый раз этажерку смастерил, теперь вот Игорю подарок.

Ракитин. На Миколашкин трон похож.

Костюшко *(весело)*. А что? Может, сын мой в президенты республики махнет.

Татьяна. Остынь, Антоша.

Костюшко *(увидал кастрюлю)*. Поесть ничего нет? С утра голод в животе бродит.

Ракитин *(сочиняет)*.

Голод бродит в животе,
А буржуи уж не те.

Костюшко. Ого! Смотрите, какой поэт! С социальным наклоном. Куда только Курнатовский смотрит.

Татьяна. В кастрюле немного осталось. Вот газета, Капа принесла. Твоя статья в ней.

Костюшко. Видел. Молодец, Виктор Константинович, умница. Очень хорошо понимает, что Забайкалье сейчас форпост революции на Дальнем Востоке и в Сибири.

Столяров. Оружия бы побольше.

Костюшко. Не прибедняйся, Прокофий Евграфович. Знаю, сколько у тебя чего есть. Одних винтовок на роту. Ты, как мышка-норушка, все к себе тянешь.

Столяров. Оружие надо раздать, Антон Антоныч.

Капа. Антон Антоныч, я хотела поговорить с вами.

Костюшко. Поешь. На пустой желудок — какой разговор.

Капа. Хорошо, я в другой раз.

Костюшко. Говори, Капа, не стесняйся.

Ракитин *(встает)*. Пойдемте, ребята, посмотрим, что на вольной воле делается.

Ракитин, Эрдыни, Хаджи-Гирей уходят.

Капа. Понимаете, Антон Антоныч... мне трудно... Я люблю Сеню, вернее, любила. Не знаю, как случилось, героем он мне показался... Но я не про это. Потом... как вам сказать... может, зря на человека наговариваю...

Татьяна *(подает стакан)*. Выпей, Капа.

Капа. Я выпью. Помните, когда мы оружие ночью брали? Сеню тогда ранило. Стала я перевязывать и поскользнулась. Нечаянно за руку его схватилась. А он хоть бы что. Я подумала, крепкий он, как Овод. Это я книжку такую читала *(всхлипывает)*. А он чернилами руку облил.

Костюшко. Постой, постой! Зачем ему чернилами руку обливать.

Капа. Вы перчатки посмотрите. Думаю, почему у него кровь холодная? *(Плачет)*. Жму его руку, а он не кричит.

Костюшко. Твоя перчатка?

Капа. Моя.

Костюшко. Странно. Ты не находишь, Прокофий Евграфович?

Столяров. Нахожу, Антон. Надо проверить, что за человек Хурнов, откуда он? И старикашка этот, Михей Иваныч...

Костюшко. Старикашку не тронь. Он из батраков.

Столяров. Из батраков? А говорит, как лакей из гостиной: «Чего изволите?»

Костюшко. Да что вы сегодня? Один у вас чернила за кровь выдает, другой — лакей, а не батрак. Может, и я — папа римский?

Столяров. Как хочешь, не нравится мне твой батрак.

Входит Хурнов.

Хурнов. Товарищ Костюшко!..

Костюшко. Подойди сюда, Семен.

Хурнов. Слушаюсь *(подходит)*.

Костюшко. Снимай повязку с руки.

Хурнов. Не понимаю...

Костюшко *(грозно)*. Снимай, говорю!

Хурнов разбинтовывает руку, показывает рану.

Капа *(радостно)*. Сеня! *(целует Хурнова)*. Сенечка!

Хурнов. Сорвалась как якорь с цепи!

Капа. Я сейчас... я мигом. Бинт есть, йод есть *(бинтует)*.

Костюшко. Что хотел сказать, Хурнов?

Хурнов. Победа! Офицерье драпает на всех парусах. Скоро до мировой революции доплывем.

Входит Курнатовский.

Курнатовский. С победой, товарищи! *(Принюхивается)*. Честное слово, макаронами пахнет, кои обожает наш Антоха.

Татьяна. Все съели.

Курнатовский. Обжоры! Дело к мировой революции катится, а они знай пузо набивают. Антоха, за тобой передовая.

Костюшко. Слушаюсь.

Курнатовский. Получено письмо от Ленина. Владимира Ильича беспокоят иркутские меньшевики. Иркутск — самое ближнее плечо, на которое опирается наша революция.

Входит Бабушкин.

Бабушкин. С победой, ребята! Надо Ильичу сообщить.

Курнатовский. Сделаем. Мы как раз говорим о Ленинском письме. Думаю, надо срочно помочь иркутянам.

Бабушкин. Послать туда крепких революционеров.

Костюшко. Оружие.

Курнатовский. У нас много оружия. Надо раздать его читинским рабочим.

Костюшко. Это не так просто: рабочие разные бунтуют. Тут нужен индивидуальный подход.

Бабушкин. И все-таки надо раздать. Если нам будет трудно, рабочие лучше сохранят винтовки.

Костюшко. Обсудим на бюро.

Бабушкин. Дельное предложение *(нюхает)*. Слушайте, братцы, макаронами пахнет! Танюша, не зажиливай!

Татьяна. Съели. Пойдемте к нам, всех накормлю.

Бабушкин. Всех, пожалуй, многовато. Курнатовского оставим— редактору жиреть не положено. Столярову рекомендуется молочко, мужа ты всегда накормишь. Остается Бабушкин и семеро козлят.

Курнатовский. Давайте посоветуемся, товарищи. Победа — хорошо, а вдаль смотреть нужно. Получено сообщение: готовятся карательные экспедиции, из Маньчжурии и Петербурга. Возглавляют их прибалтийские бароны — Ренненкампф и Меллер-Закомельский. Наш долг помешать им.

Бабушкин. И это обсудим на бюро. Чувствую: опять разлетимся в разные края. Давайте споем нашу революционную *(запевает)*.

Шумит и плещет Ингода,
Заря над сопками пылает,
Над нами кружится беда,
Но нас она не испугает.

Мы смело выстоим в бою
И уничтожим вражью стаю.
Любовь и молодость свою
Мы отдадим родному краю!

Наш путь к свободе прям и крут —
Иного счастья нам не надо.
За нами тысячи пойдут
На мировые баррикады.

Входит Ванштейн.

Ванштейн. Товарищи! Объявлен митинг по поводу прибытия матросов транспорта «Прут».

Хурнов. Мои братишечки притопали!

Курнатовский. Где матросы?

Ванштейн. В цирке Сержа.

Курнатовский. Идемте, товарищи!

Занавес

В глубине сцены, освещенные прожектором стоят Костюшко, Бабушкин, Курнатовский. Видна стрелка, занесенная снегом. Слышится дыхание паровоза. Идет снег.

Костюшко. Жаль, что я не с вами.

Бабушкин. Так надо, Антон. Ты — душа нашей боевой дружины. И здесь дела хватит.

Костюшко. Довези оружие, Ваня.

Бабушкин. Будь спокоен: умру, а не отдам.

Курнатовский. Клянусь вам, товарищи: сделаю все, чтобы остановить карателей.

Бабушкин *(обнимает Костюшко)*. Прощай, Антон.

Костюшко *(обнимает Бабушкина)*. Прощай, Ваня!

Костюшко и Курнатовский обнимаются молча.

Бабушкин. Если что... напиши Владимиру Ильичу.

Костюшко. Все будет хорошо, Ваня.

Из темноты выныривает Эрдыни.

Эрдыни. Пора, товарищ Бабушкин.

Бабушкин. Иду, Эрдыни.

Бабушкин, Курнатовский, Эрдынин исчезают. Паровоз пыхтит чаще, слышится стук колес. Костюшко снимает шапку, на него падает снег. Гаснет свет.

Железнодорожная станция. Видны кирпичная водокачка, высокая насыпь, внизу высятся ледяные торосы Байкала.

На насыпи Бабушкин, Эрдыни и пять товарищей. Перед ними несколько белых солдат в башлыках и шинелях с винтовками наперевес. Ими командует подполковник Заботкин.

Идет снег.

Эрдыни *(Бабушкину)*. Прощай, друг-тала!

Бабушкин. Прощай, друг.

Заботкин *(Бабушкину)*. Спрашиваю в последний раз: откуда и куда везли оружие?

Бабушкин молчит.

Заботкин. Спрашиваю в последний раз: ваша фамилия?

Бабушкин. Неизвестный.

Эрдыни. Стреляй, собака!

Заботкин. Отделение! По врагам царя и отечества!..

Бабушкин. Да здравствует революция!

Слышится нестройный залп. Начинается пурга, воет ветер.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Дом полицмейстера. Обстановка та же. Полицмейстер в хорошем расположении духа. Поет «Среди долины ровные, на гладкой высоте...» В комнату вбегает болонка, за ней с веником гонится Капа.

Капа. Ах, ты проклятая, всю колбасу сожрала!

Полицмейстер *(гоняется за Капой)*. Лови ее, Капочка! *(хватает Капу)*. А-а, попалась душечка.

Капа. Вы кого ловите? Меня или собаку? Пустите!

Полицмейстер. Ой, строга! Ой, строга!

Капа. Сегодня ухожу от вас. Хватит, наприслужничалась.

Полицмейстер. И напрасно. Большевики тебе голову вскружили? Так знай, голубушка, недолго они проживут. А потом что?

Капа. Потом суп с котом.

Полицмейстер садится за рояль, играет.

Полицмейстер. Как бы тебе не прогадать, Капочка?

Капа. Не прогадаю.

Входят Хурнов и Тюрин. Увидели Капу, растерялись, Хурнов пятится к двери, Тюрин прячется за него.

Капа. Сеня? Ты зачем?

Хурнов. Я... мы... От имени революционного правительства! Ультиматум господину полицмейстеру!

Полицмейстер *(перестает играть)*. Что?

Хурнов. Именем революции!..

Полицмейстер *(узнает Хурнова)*. Капа, выйди, пожалуйста.

Капа *(гордо)*. Я тоже революция!

Хурнов *(тихо)*. Выйди, Капа. Я сейчас его по-матросски...

Капа уходит.

Полицмейстер *(довольно)*. Господа! Близится наше время. В скором времени в Читу прибудут карательные экспедиции генералов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского. Но враг еще силен и опасен. Бунтовщики имеют сорок вагонов оружия, большое количество взрывчатки. Есть сведения, что заминировано депо. Именно это обстоятельство побуждает меня к осторожности. Тем более, что вооруженным восстанием руководит Костюшко-Валюжанич, или, по-теперешнему, Костюшко-Григорович.

Хурнов. Ваше превосходительство!..

Полицмейстер. Что с вашей рукой, господин Мигунов?

Хурнов. Пострадал за революцию, ваше превосходительство. Теперь я не Мигунов, а Хурнов Семен Михайлович. По большевистскому паспорту.

Полицмейстер. Поздравляю с коммунистическим крещением. Хе-хе! Ну-с, господин Мигунов-Хурнов, как идут ваши дела?

Хурнов. Рядовой революции Хурнов находится в полном доверии у Костюшко и его товарищей.

Тюрин. Я тоже, вашество.

Полицмейстер (*наливает вина Хурнову*). Похвально, похвально, господин будущий поручик.

Хурнов. Рад стараться, ваше превосходительство!

Полицмейстер. Чем вы порадуете, господин будущий надзиратель?

Тюрин. Я знаю, вашество, где большевики прячут оружие. Можно сказать, к нему приставлен.

Полицмейстер (*прохаживается по комнате*). Превосходно, господа. По всем данным, сеть наша суживается, рыбка идет в мешок. Мы должны захватить весь мешок. Да-с! И это сделает господин Мигунов. Очень важно, чтобы в мешке оказались Костюшко, Бабушкин, Курнатовский и другие главари. Вы, господин Тюрин, при помощи верных людей риквизируйте оружие у большевиков. За эти подвиги вас ждет особая награда.

Хурнов и Тюрин (*в один голос*). Слушаемся, ваше превосходительство.

Вбегает Капа.

Капа. Ах ты, проклятая собачка! Всю сметану сожрала.

Хурнов. Именем революции...

Полицмейстер. Никогда, господин представитель! Я не признаю никакой другой власти, кроме существующей и освященной веками...

Хурнов. Я доложу об этом революционному комитету.

Полицмейстер садится за рояль, играет.

Капа. Сеня, тебя избрали в комитет?

Хурнов. Скоро изберут.

Капа. А я ухожу отсюда. Надоело.

Хурнов. Давно пора. Салют, ваше медицинское сиятельство.

Капа (*грустно*). До свидания, Сеня.

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Паровозный цех. Сейчас он представляет баррикады. Лежат мешки с песком, в окне стоит пулемет. В углу видны санитарные носилки, ящики с медикаментами.

В цехе расположились кто где: Костюшко, Таня, Столяров, Ванштейн, Капа, Ракитин, Хаджи-Гирей. Поют песню.

На старом кургане, в широкой степи,
Прикованный сокол сидит на цепи,
Сидит он уж тысячи лет,
Все нет ему воли, все нет.

Ракитин. Плохо наше дело, ребятушки. Обкладывают нас генералы, как волков на облаве.

Капа. Не помирай, Митрич, раньше времени.

Ракитин. Мне што, за пятьдесят стукнуло, можно сказать, жизнь прожил.

Столяров. Какой ты старик, Ракитин, сосунок против меня. Шестьдесят три не хочешь?

Ракитин. Сколь не живи, а все равно в землю неохота.

Костюшко. Будем драться до последнего, товарищи! Так, чтоб дети и внуки помнили о нас. Они доживут до светлого царства свободы.

Татьяна. Вспомним Спартака, Гарибальди, героев Парижской коммуны! Они пролагали нам путь к счастью. А мы проложим другим.

Костюшко. Верно, Танюша *(поет)*.

Сидит он уж тысячи лет,
Все нет ему воли, все нет...

(обращается к Хаджи-Гирею). Хаджи, что молчишь?

Хаджи-Гирей. Мне что? Друг пропал.

Ракитин. Где-то наш Эрдынеюшка.

Столяров. С Бабушкиным не пропадет.

Хаджи-Гирей *(Костюшко)*. Расскажи, как раньше жил, чево хорошего знаешь.

Костюшко. Наша жизнь известная, на цыганскую похожа. Был военным, стал большевиком. Первый раз арестовали семь лет назад. Работал в Екатеринославе с Ваней Бабушкиным. Опять арестовали. Выслали на пять лет в Якутск. Сражался с жандармами — дали двенадцать лет каторги. Посадили в Иркутскую тюрьму. Сбежал... Вот и вся песня.

Входит Хурнов.

Хурнов. Еле пробрался, окружили нас беляки. Но ничего, мы им устроим Порт-Артур.

Костюшко. Что еще?

Хурнов. Невеселые дела, товарищ Костюшко: два склада с оружием разграбили.

Костюшко. Где?

Хурнов. Один на острове, другой на Дальнем.

Костюшко. Где Михей Иваныч?

Хурнов. Кажется, убили. Защищался до последнего.

Костюшко. Жаль старика.

Татьяна. Я ему пуховой шарфик связала.

Хурнов. Белоказаки наших арестовывают.

Костюшко. Знаю *(вздыхает)*. Где же ты, Ваня Бабушкин? И Курнатовский не объявляется.

Капа *(вскакивает)*. Что же мы сидим? Там наши братья умирают... Антон Антоныч?

Костюшко. Успокойся, Капа.

Ракитин. Молодо-зелено. Геройства барышня ищет *(к Костюшко)*. Я чего хочу спросить, Антон Антоныч: можно записаться в партию вашу? Я, конечно, неграмотный, дед мой щи лаптем хлебал, отец колесу молился. И я, значит, недалеко упрыгал. Не все понимаю, куда идти и што делать. А вот животом чую: моя власть. А коли человек насмерть за нее, выходит, и жить им в обнимку.

Костюшко. Можно, Митрич, и нужно. Буржуазия спрашивает нас: «Как будут кухарки да конюхи государством управлять?» А мы отвечаем: «Управимся да еще европам нос утрем».

Слышатся выстрелы.

Ракитин. Может, я не так думаю. Только я, как партейный, за двоих драться буду: за себя и за это самое... светлое царство.

Костюшко. Ты, Митрич, хорошо думаешь.

Входит Цупсман.

Цупсман. Товарищи! Казармы окружены белоказаками.

Ракитин. Выручать надо.

Цупсман. Решай, Антон.

Костюшко. Давайте вместе решать. Товарищи! Читинское бюро РСДРП решило прекратить открытую борьбу. Баррикадного боя не будет. Как член социал-демократической партии подчиняюсь партийной дисциплине. Как боец — последним уйду отсюда.

Цупсман. Я с тобой, Антон.

Капа. Я с вами, Антон Антоныч.

Ракитин. Я так думаю: трусостью от врага не оборонишься. Надо вместе держаться, в горы, в леса идти.

Хурнов. Товарищи! Предлагаю драться до последнего патрона, до последнего вздоха. Никаким генералам нас не победить. Даешь мировую революцию!

Капа. Молодец, Сеня!

Столяров. Все, ребята, верно. Только генералы оказались не то, что хитрее, — опытнее нас. Иногда и отступление — путь к победе.

Хурнов. Предатель!

Столяров. Потише, морячок, не буйствуй. Предателем я никогда не был. Тебя бы не мешало пощупать.

Хурнов *(хватается за наган)*. Ах ты, крабья душа! На дно морское захотелось?

Костюшко. Прекратите истерику, Хурнов!

Цупсман. Правильно говорит товарищ Костюшко. Я немец, но с радостью умру за свободную Россию.

Ванштейн. Молодец, Эрнест.

Слышатся близкие выстрелы. Их заглушает протяжный заводской гудок. Вначале тихо, потом громче, громче. Костюшко запевает «Варшавянку». Песню подхватывают. Она сливается с протяжным заводским гудком.

Доносятся крики: «Казаки!» — «Окружают!» — «Бежим, ребята!»

Костюшко. Иди, Танюша.

Татьяна. Нет, я с тобой.

Костюшко. Сын у нас, Таня... Береги его.

Татьяна. До свидания, Антон.

Костюшко. Прощай, Танюша!

Татьяна уходит.

На минуту гаснет свет, прожекторы освещают середину сцены. По ней идут Костюшко, Хурнов, Цупсман.

Костюшко (*оглядывает товарищей*). Мало наше войско. Ну да ничего: вырастет.

Появляется Тюрин.

Костюшко (*радостно*). Михей Иваныч? Жив?

Тюрин. Едва отбрыкался. Куда мы ж теперь, Антон Антоныч?

Костюшко. С Хурновым пойдем, он знает надежное место. Не горюй, Иваныч, мы с тобой до мировой революции дойдем.

Тюрин. Ет, канешно. С такими орлами. Седни не победили, завтра осилим. Как раз под мировую подкатим.

Хурнов. Топать надо, товарищ Костюшко. Как бы контра нас не залапила.

Костюшко. Ребят подождем.

Появляются Ракитин, Капа, Хаджи-Гирей.

Ракитин (*запыхался*). Еле догнали. Как говорится, два горя вместе, третье пополам.

Капа. Сеня! Я знала, что ты с нами пойдешь.

Хурнов. А как иначе? Одним курсом шпарим.

Гаснет свет. В лучах прожекторов проходят по сцене Костюшко, Цупсман, Хурнов, Тюрин. За ними, на расстоянии — Ракитин, Хаджи-Гирей, Капа, солдаты. Слышатся крики: «Где они?» — «Догнать!» — «Брать живьем!» На сцену выбегает белый солдат. Ракитин стреляет, солдат падает. Выбегает второй — Хаджи-Гирей стреляет. Солдат падает.

Появляются Карпуша, белые солдаты.

Карпуша. Вот они, красноперые! *(Стреляет. Красный солдат падает. Второй раз стреляет — второй солдат падает. Карпуша убегает).*

На сцену вовращается Капа с санитарной сумкой. Заметила раненых.

Первый солдат *(хочет подняться).* Прощай, Галя...
Второй солдат *(приподнимается).* Помоги ему, дочка.
Капа *(роется в сумке).* Сейчас, сейчас...

Появляется Карпуша. Увидел Капу, поднимает наган.

Карпуша *(выступает вперед).* Здорово, милка! Едва встретились. Хоть разок поговорим про идейную линию *(целится).* Ни богу, ни черту!

Капа. Стреляй, гад! Да здравствует мировая революция!

Карпуша стреляет.

Капа. Да здра... *(падает).*

Меркнет свет.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Возникает песня «Слу-шай!» Приближается, крепнет, затихает.

Читинская тюрьма. Камера. Высокое окно с решеткой, две кровати. В камере Костюшко и Ванштейн. Костюшко поет:

Сидит он уж тысячи лет,
Все нет ему воли, все нет...

М-да, жаль, что так случилось. Нашелся какой-то предатель.

Ванштейн. По-моему, Хурнов. Много вы ему доверяли.

Костюшко. Вряд ли, матросик за революцию душу отдает.

Слышится стук за стеной. Костюшко слушает, отходит.

Костюшко. Арестован Столяров. Честнейший человек. Два года в одиночке просидел. Железная воля.

Ванштейн. Все пропало.

Костюшко *(садится рядом с Ванштейном).* Пропало, но не все. Мы отступили временно, царизм еле держится. Еще один удар — и самодержавие полетит в тартарары.

Ванштейн. Соню жалко, тяжело ей.

Костюшко *(обнимает Ванштейна).* Понимаю, Исай, тебе труд-

но, труднее всех. Враги приняли тебя за Брайловского, нашего лучшего агитатора. Мы ценим твое благородство, мужество: ты не стал просить, доказывать... Разве можно победить таких людей, Исай?

Ванштейн. Нас расстреляют?

Костюшко. Ничего не известно. Товарищи не дремлют. Вернутся Бабушкин, Курнатовский, все сделают.

Ванштейн. В общем-то правильно. Собачья была жизнь. Кто мы, евреи? Несчастный народ. Нет у нас родины. Рассыпались по свету и дрожим за свои шкуры. Угодничаем перед царем и дворником.

Костюшко. Ты неправ. Исай, зачем наговаривать на свой народ?

За стеной слышится песня.

...Наш путь к победе прям и крут,
Иного счастья нам не надо...
За нами тысячи пройдут
На мировые баррикады.

Входит Тюрин. Одет, как прежде, в бытность свою надзирателем.

Тюрин. Прекратить песню! Не полагается! Костюшко на допрос!

Костюшко. Иду *(Ванштейну)*. Выше голову, Исай!

Костюшко уходит.

Тюрьма, комната свидания. За столиком сидит Тюрин, жует пирог, запивает молоком из бутылки. Обстановка прежняя. Слышится песня: «Шумит и плещет Ингода».

Тюрин. Ишь распелись, никакой черт их не берет. Стреляют, вешают, как собак, а все неймется, все: ля! ля! ля-ля! Ничегошеньки не боятся *(крестится)*. Осподи, осподи, царица небесная! Сохрани и помилуй!

Входит Татьяна. Пальто и шаль старят ее. В руках узелок.

Тюрин. Вам кого, барышня?

Татьяна *(подает бумажку)*. Мне разрешили свидание с Костюшко-Григоровичем.

Тюрин. Вас, барышня, не поймешь: то к Костюшко-Валюжаничу ходите, то к Костюшко-Григоровичу *(хихикает)*. Не полагается!

Татьяна. Вы что же, иркутский надзиратель?

Тюрин *(хихикает)*. Спаситель ваш.

Татьяна *(приглядывается)*. Михей Иваныч? Не может быть!

Тюрин. Был Михей Иваныч да испарился. Лукой Сидорычем кличут. Ну, што глазенки пялишь? Спасителя не узнаешь?

Татьяна. Не может быть!

Тюрин. Ну и дура! Заладила сорока про Якова... На этом свете

все может быть. Пойтить посмотреть, может, окачурился *(уходит)*.

Т а т ь я н а. Боже мой! Возможно ли! А может, он Антона выручает?

Входит К о с т ю ш к о в арестантской одежде. Бритый, бодрый. На ногах и руках кандалы.

К о с т ю ш к о *(берет Татьяну за руки)*. Здравствуй, Таня!

Т а т ь я н а. Здравствуй, Антон *(кивает на Тюрина)*. Что это? Маскарад?

К о с т ю ш к о. Предатель. В самое сердце влез.

Т ю р и н. За руки не полагается!

Татьяна и Костюшко отходят в угол.

Т а т ь я н а. Все, как во сне. С ума сойдешь.

К о с т ю ш к о. Крепись, Таня *(тихо)*. Где Бабушкин?

Т а т ь я н а. Не знаю.

К о с т ю ш к о. Курнатовский?

Т а т ь я н а. Не знаю, Антон.

К о с т ю ш к о. Как Игорь?

Т а т ь я н а. Растет.

Т ю р и н. Отходить не полагается.

Татьяна пытается передать Костюшко кулек. Тюрин подбегает, выбивает кулек из рук Костюшко. Макароны рассыпаются.

Т ю р и н. Ишь, господа хорошие! Опять макароны? А в них пилки? Знаем вас, не хуже нас!

Входит М и г у н о в в форме жандармского офицера. Левый рукав болтается. Поет: «Сердце красавицы...» (замечает Татьяну и Костюшко).

М и г у н о в. Ба! Ромео и Джульетта! А говорят, история не повторяется. Смешно и грустно.

Т а т ь я н а *(в ужасе)*. И этот?

М и г у н о в. И ты, Брут? Как видите, мадам. И помните: приглашение на чай остается в силе. Правда, я не в той форме, но что делать? Пострадал за революцию.

Т а т ь я н а. Предатель!

М и г у н о в. Мерси.

К о с т ю ш к о. Спокойно, Танюша, перед кем пыл тратишь?

Т ю р и н *(показывает на рассыпанные макароны)*. Ваша благородия, опять макароны совала.

М и г у н о в. Смотри, Тюрин, в оба. Сбережешь Костюшко — чин старшего надзирателя в кармане.

Т ю р и н. Премного благодарны, вашабродь.

Мигунов. А пока адью. Дела!

Мигунов уходит, напевая «Сердце красавицы...»

Тюрин *(смотрит на часы)*. Свидания окончена.

Татьяна *(обнимает мужа)*. До свидания, Антон.

Костюшко *(целует Татьяну)*. Прощай, Таня. Береги сына.

Тюрин *(тянет за рукав Костюшко)*. Свидания окончена!

Татьяна уходит. Тюрин возвращается. Берет пирог, наливает молока.

Тюрин. Не вылетит сокол, крепко заперт. Пуще глазу берегу *(хихикает)*. Благородия-то раскошелился, старшим, говорит, поставлю. И то сказать, я ему тоже услужил. Как мы их накрыли, как мух прихлопнули. Из-за них, почитай, благородия руки лишился, нарошно прострелил, штоб по всем правилам. Поумнел благородия, куда там!

Входят Ракитин и Хаджи-Гирей. Ракитин в длиннополой шубе, шапке, валенках. Хаджи-Гирей в сапогах, ватнике, в заячьем малахае. Оба загримированы.

Ракитин *(подает бумажку)*. Нам бы, служивый, Костюшко-Григоровича повидать. Вот разрешение.

Тюрин. Опять к этому разбойнику *(читает)*. Так, значится, купчишки толстопузые *(протягивает руку)*. Клади на руку да поболе!

Ракитин *(дает деньги)*. Возьмите, ваше благородие *(вздыхает)*.

Тюрин. По какому делу?

Ракитин. Как есть, по торговому, служивый. Должок за ним числится, почитай, около пятидесяти. Давненько брал. Так вот спросить надобно: сам отдаст или с родичей требовать?

Тюрин. Пойду, погляжу, коль не окачурился.

Хаджи-Гирей вытаскивает нож из кармана, сует за пазуху. Ракитин проверяет в кармане пакет.

Ракитин. Чудаки мы этакие, надо бы в тряпочку завернуть. Как говорится, что хитро, то и просто.

Хаджи-Гирей. Поздно говоришь, Ракита. Слушай, как крикну: «На, жри, собака!» — сразу в дверь бросайся.

Ракитин. Понял, Хаджи. Учи рыбу плавать.

Входят Тюрин и Костюшко.

Ракитин. Мое почтение, Антон Антоныч... Извиняюсь за вторжение. Аль не признали? Завертаев я, если помните. Должок за вами — сорок три копейки с полукой. Конешно вы в таком положении, как говорится, только ить долг платежом красен. Не должен я страдать.

Хаджи-Гирей незаметно показывает на Костюшко. Тот кивает.

Тюрин *(хихикает)*. Нашел с ково деньги требовать. Голь он перекатная. В одном кармане — вошь на аркане, в другом — блоха на цепи.

Костюшко. Я, собственно, в затруднении, господин Завертаев. Видите, в каком я положении. В недавнем прошлом я рассчитывал получить некоторые суммы... Теперь, право, я не знаю... Надо с женой поговорить.

Тюрин. Хватит брехать-то! Скажет: «суммы». Одна сума и есть, холщовая, по миру ходить. Коли придется.

Входит Мигунов.

Мигунов. Опять свидание? Кто такие?

Тюрин. Купчишки, вашабродь *(хихикает)*. Деньги с голодранца требуют.

Мигунов. Прекратить свидание!

Ракитин пытается передать пакет Костюшко. Мигунов бросается к Ракитину. Отбирает пакет. Заходит за перегородку.

Мигунов. Купчишки, говоришь? Посмотрим. Тэк... Т-э-к! Парики, усы, бороды!.. Взять лазутчиков!

Тюрин бросается к Ракитину. Хаджи-Гирей бьет Тюрина ножом в грудь. Тюрин падает.

Хаджи-Гирей. На, жри, собака!

Мигунов (свистит). Врываются надзиратели, хватают Ракитина и Хаджи-Гирея.

Мигунов. Костюшко в камеру. Исполнять!

Костюшко уводят.

Мигунов. Этих связать!

Тюрин *(пытается подняться)*. Ваша благородия!.. Ваша благородия!.. Спасите... отомстите *(падает)*.

Хаджи-Гирей *(срывает усы и бороду)*. Зачем вязать? Сами пойдем. *(Ракитину)*. Эх, Ракита, почему дверь не бежал?

Мигунов. А-а, сам абрек явился.

Хаджи-Гирей. За твоей душой явился, вместе на небо пойдем.

Мигунов *(Ракитину)*. Ты кто?

Ракитин *(срывает усы и бороду)*. Костромской мужик, ваше предательство. Хотели вам кишочки выпустить — не успели. Ну да мир не без добрых людей.

Мигунов. Увести!

Ракитина и Хаджи-Гирея уводят.

Проходит несколько минут. Гаснет свет. Слышится музыка песни «Шумит и плещет Ингода». В глубине сцены, на фоне Титовской сопки, стоят Костюшко, Цупсман, Ванштейн, Столяров.

Напротив них — несколько солдат с винтовками. Командует Карпуша.

Карпуша. Перед смертью можно покурить *(закуривает)*.

Костюшко *(выступает вперед)*. Солдаты! Революция временно отступила. Но буря зреет. Пройдет пять-десять лет и Россия будет свободной. Навсегда! Навечно! Будет свободной земля, на которой вы стреляете в нас.

Солдаты! Вы обмануты. Наша вина в том, что мы не сумели донести до вас правду. Это сделают другие.

Мы не боимся смерти. Счастье умереть за правое дело! Ваши дети принесут цветы на наши могилы.

Карпуша *(бросает окурок)*. Поговорили, хватит. Отделение!

Костюшко, Цупсман, Ванштейн, Столяров берутся за руки. Костюшко запевает.

Наш путь к победе прям и крут, —
Иного счастья нам не надо...
За нами тысячи пойдут
На мировые баррикады!

Карпуша. На прицел!

Песня крепнет, приглушается свет.

Карпуша. Пли!

Песня обрывается. И снова плывет — ее поднимают другие голоса. Она катится могучей волной, раскатистым прибоем. Прожекторы выхватывают из темноты четыре барельефа, останавливаются на каждом из них.

Луч прожектора мечется по сцене. Освещает памятник на Титовской сопке.

Занавес

В 5-м номере «Ангары» за прошлый год читатели познакомились с «Записками уездного комсомольского работника 20-х годов», принадлежащими перу Михаила Александровича Моценка. В годы Великой Отечественной войны Михаил Александрович воевал, был корреспондентом, редактором фронтовой газеты, заместителем командира стрелкового полка по политчасти.

Сегодня мы предлагаем читателю главы из повести М. А. Моценка «Мужество».

Михаил МОЦЕНОК

ДНЕВНИК ЛЕНЫ ТОПОЛЬ

Главы из повести «Мужество»

...Половинка тетради, обыкновенной общей тетради, школьной, в клеточку... Очень знакомая половинка. Обычно Цыганов носил такие тетради в типографию, и резальщик пускал их под нож. Лучшей записной книжки журналиста не придумаешь...

Последний раз он разрезал тетрадь в августе 1941, торопясь на станцию. Отходил эшелон, с которым уезжала Лена. Прощались они наскоро. Лену, назначенную комиссаром эшелона, тормошили люди. Ночь надвинулась такая темная, как будто на Ленинград накинули гигантское черное покрывало. Артем и Лена стояли рядом и держались за руки. Он ей говорил: «Буду, писать, обязательно буду писать, и ты, Тополь, пиши... Все-равно, куда-нибудь... Как поется в песне». Из полевой сумки он достал половинку общей тетради и вложил в ее теплую ладонь... «Все записывай. Помнишь, как Наташа...»

Половинка возвратилась, а Лены нет. Не вернется Тополь. Вместе с тетрадью пришла похоронная. Не такая, какие подписывал замполит, а просто несколько слов, напечатанных на машинке на бланке со штампом: «Елена Тополь погибла при исполнении боевого задания». «Похоронная» пришла на фронт из тыла, из Москвы... Можно, оказывается, получить такое и на передовой. Принес не почтальон. После совещания замполитов в подиве Сидорук увел с собой Цыганова. Оставил обедать. Неохотно шел за начподивом Цыганов: приятно, конечно, вместе посидеть и вспомнить Донбасс, шахты и заводы. Но столько дел у замполита в полку, неделю не может Цыганов дописать корреспонденцию.

— Артем! — окликнул Сидорук отставшего Цыганова и, подождав, спросил: — Помнишь девичью фамилию жены?

— Лены?! — Артем не ответил, сразу не мог вспомнить, то ли от неожиданности вопроса начподива, то ли от охватившего волнения, ощутил в себе какой-то провал. Почему начподив спросил именно о девичьей фамилии? Тревога захлестнула Цыганова, когда они спустились в блиндаж. На газете лежала знакомая половинка общей тетради, а рядом пакет...

— ...Тополь! Елена Максимовна Тополь!...

Сидорук положил руки на плечи Цыганова, подтолкнул к столу.

— Значит, пакет и эта тетрадочка тебе... Сгорела твоя Тополь в партизанском отряде. Почти два года назад... Долго же тебя искали. Ты, Артем, почитай, а я пойду к Якову в блиндаж, посижу у него...

Больше суток не отпускал Сидорук Цыганова. Не дал ему окаменеть, уйти в себя. Возил «в гости» в соседнюю дивизию, рассказывал о своей погибшей в Донбассе семье. Артем видел, как это ему тяжело. Оставаясь один, Цыганов чувствовал, как его охватывает пустота и равнодушие. Почему-то вспоминал эпизод из кинофильма «Щорс». У батьки Боженко беляки убили жену. Герой, бесстрашный батько Боженко, от одного имени которого бледнели белогвардейские генералы и атаманы, неожиданно горевал по-женски; он рыдал, причитал, бросался на койку, забыв обо всем. Тогда Цыганову это поведение показалось смешным.

Человек! Каждый человек горюет по своему... Когда в комсомольские годы погибла от рук бандитов Наташа Черемшанова, рядом с Артемом были товарищи, ровесники, друзья; внесла душевное успокоение долгая зимняя дорога на прииски. А потом была молодость, когда душевные раны заживают быстро....

Цыганов прячет тетрадь во внутренний карман кителя и выбегает из блиндажа. Не разбирая дороги он торопливо идет, словно хочет от кого-то уйти и ушел бы далеко, если бы его не нагнал и не окликнул Климушкин.

— Ты куда, замполит? Я за тобой... Едем домой. Тебе надо людей держаться...

..Все записи без дат. Две-три клеточки отступа. Звездочка или знак «бемоль»...

*

...Немцы под Москвой! Под Москвой фашисты! Никак не могу этому поверить. Хочется выйти на улицу и кричать, кричать во весь голос: «Это же неправда! Нет, нет! Не может быть!..» Утром (в который раз, в который раз!!!) ходила я в райком партии. Опять меня отругали. Сказали, что веду себя, как девчонка, а не партийка. И не потому, что я хочу на фронт. Секретарь райкома сказал: «Все хотят на фронт, а твой фронт на заводе, с которым ты приехала. Если еще раз, товарищ парторг цеха, придете по этому вопросу, мы вас накажем. Думаете вы не о том...» О чем же я тогда думаю?...

*

Ночами я дежурю в госпитале тяжелораненых. Это решение собрания женщин. Госпиталь — продолжение поля боя! Так сказала старший врач. Умирают бойцы и офицеры, хотя врачи и сестры делают все, чтобы спасти и вылечить каждого. Сегодня ночью на моих руках умер совсем молодой солдат. Видела, как гасли его глаза, сжимались в тоске губы. Тихо он звал мать. Нежно, как мальчуган — мамочка моя... Выживают солдаты не только от лечения и лекарств, но и от теплоты женских рук. Так хочется оправдать слова старшего врача, убеждавшего нас в необходимости наших дежурств.

*

В мыслях, во сне, я мщу фашистам. В цехе, не стесняясь, все рассказывают про свои сны... Почти все «воюют, уничтожают гитлеровцев». А расстроены — не на яву...

*

Минуло четыре месяца войны... Зима. В парткоме перед заседанием разговорились. Кто как встретил войну. Для заводских война не явилась неожиданностью. На завод приезжал нарком, встревоженный, говорил о максимуме усилий, о готовности. Старались, хотели верить, что мировая война пройдет стороной. Я призналась — не ждала... Вышучивала Артема и его товарищей, вполголоса говоривших, что война с фашистской Германией может вспыхнуть в любую минуту. Торжествовала, когда в газетах появилось сообщение ТАСС—слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены почвы... Меня потом упрекнули, что мне мешала видеть моя близорукость. Учителям-де это свойственно... Нет, близорукости у меня не было... А что же было? Не знаю, прав, пожалуй, секретарь парткома — ложная уверенность, что немцы никогда не посмеют напасть. Россия с каждым днем становилась сильнее... Ложная?! Секретарь парткома почему-то замял разговор, даже подосадовал, что сказал, и перевел на другое.

Стали вспоминать свой последний мирный день. Мой был в Москве. Артем уехал через Москву на юг, а я решила съездить в Сибирь, на Енисей, к отцу. Очень болел Максим и звал меня... В Москве меня зацепили подруги. Решила уехать в воскресенье. Ночью шел дождь, в раскрытые настежь окна тянуло необычной свежестью, запахами кленов. Вспоминали студенческие годы, дев-академичек. Утро солнечное, небо ясное. На Ярославский шли пешком по умытым бульварам. Я любовалась цветами. Так здорово расцвели гвоздики. На Каланчевке толпы уезжающих за город, много военных, с детьми. Кассы на дальние

рейсы закрыты. Долго мы стояли на площади и любовались голубым-голубым небом, слушали музыку, даже подошли поближе к репродуктору. И вдруг! Война! По всей границе война! От Черного моря до Балтики. Гитлер нарушил... вероломно... Не думая, даже не прощаясь с подругами, побежала на Октябрьский, взяла билет и вернулась домой...

А через сутки прилетел с летчиками Артем. Отпуск у него условный, так значилось в билете...

*

Никогда я не писала дневников. Не терпела их. Смеялась над девчонками. Никогда я не читала чужих. Прочла лишь записи Артемовой Наташи. Леня Петров тогда уговорил. Жаль, что ее тетрадочку я оставила в Таежном, а то бы продолжила... Ловлю себя, — ведь ничего не ответила Артему, когда он мне оставил, эту, попросив — пиши... Письма? Дневник? Не договорились...

*

Была я в военкомате. Оставила сегодня на столе военкома свою реликвию: серебряную пластину. Сняла с призовой «тозовки» — обязали население сдать оружие. Военком вслух прочел: «Студентке АКВ им. Крупской. Лучшему стрелку Тополь Елене. Москва. 1928 г.» Говорю военкому: «Между прочим, я с детства белковала. Знаете, что это такое? Ходила по Енисейской тайге с отцом и ребятами и не хуже била белку и даже соболя».—«Верю, верю... Я же не против. Езжай на фронт, хоть сегодня езжай. Ты у нас на учете — медсестра. Нужно «добро» от райкома, а ты в «брони»... Броня! Броня! Разве сердце за броню спрячешь?!

*

Обязали меня читать лекции. О немцах. В историческом разрезе. О том, «как русские бивали прусских», о корнях фашизма. Ты же историк! Вспоминаю битву на Чудском озере. Никогда я не осязала так живо поддержку от слушателей. Говорю: «Да, немец сейчас под Москвой! Дойти он дошел, но поставить на колени народ советский он не сможет. Зреет удар, могучий, невиданный. Он складывается не только из материальных сил, воли, сердец, мастерства каждого в тылу и на фронте... Его источник — народная русская традиция — кто к нам с мечом пришел, тот...» Сидит седой дядя и кивает мне головой. И еще... и еще! Суровое спокойствие, собранность и убежденность людей. «Ни-

чего, дочка, придет час, врага остановим, а наступит час и погоним!» Привела я высказывания путешественника, побывавшего на Руси в конце XVI века: «Если бы русские знали свои силы — никто бы не мог бороться с ними, а от их врагов сохранились бы кое-какие остатки»... Просят меня повторить эти слова раз, другой. Тот седой, поднимается и говорит: «Силу мы знаем, силу мы свою чувствуем. После Великой Октябрьской каждый русский втрое сильнее. Сын у меня под Москвой. Я ему наказал — останови фашиста! Сыновьям, мужьям и отцам сейчас все пишут один наказ — остановите! Имею я надежду...»

*

Окружили меня рабочие и работницы. В руках у одной большой треугольник, она спрашивает меня адрес Толстого. Какого Толстого? Нужен адрес писателя Алексея Толстого. Зачем? Письмо мы от цеха ему написали. Благодарственное. За его статью в «Правде». Неделю номер «Правды» читают в сменах. Едва разобрала текст. Решила немного переписать. Кровью сердца сочится статья! Девчата в цехе читают из статьи на память: «Все поняли теперь: что жизнь, на что она мне, когда нет моей Родины?... По-немецки мне говорить? Подогнув дрожащие колени, стоять, откидывая со страха голову перед мордастым, свирепо лающим гитлеровским охранником, грозящим добраться кулаком до моих зубов? Потерять навсегда надежду на славу и счастье Родины моей, забыть навсегда священные идеи человечности и справедливости, — все, все прекрасное, высокое, очищающее жизнь, ради чего мы живем.

Видеть, как Пушкин полетит в костер под циничную ругань белобрысой немецкой сволочи и пьяный немецкий офицер будет мочиться на гранитный камень, с которого сорван и разбит бронзовый Петр, указавший России просторы беспредельного мира?

Нет, лучше смерть! Нет, лучше смерть в бою! Нет, только победа и жизнь!».

Эти строки я пишу в письмах солдатам по просьбе их матерей и жен...

*

На улице декабрь. Злой, морозный. На улицах сегодня в проходной — радость и улыбки. Немцев отбросили от Москвы! Немцев разгромили под Москвой! Пожилая тетя обнимает и, целуя меня, плачет: «Ой, милая моя, да ведь выходит, можем мы немца гнать, можем!» Правду ты тогда нам вычитала... «Вспомнила! Читала «Правду» от 27 ноября — «Под Москвой должен начаться разгром врага». Повеселел завод. Началось!



Скорбен Пал Палыч, наш заместитель начальника цеха. Живем мы под одной крышей. Встречаюсь я с ним на заводе и дома. Все он вздыхает. Глаза у него жадные, голодные. Свои продуктовые карточки хранит в серебряном портсигаре. Завтрак съедает в одиночестве, в кабинете, закрывшись на ключ. Всего боится Пал Палыч: и газет, и радио, и темноты. Своим видом он приводит в ярость. Сегодня утром ему сказала: «Уехать бы вам, Пал Палыч! Куда? На самый далекий от войны островок, безлюдный, где ни войны, ни людей. Запасов еды только захватите с собой лет на сорок. Забирайтесь в глубокую пещеру, ешьте и спите! Да, не забудьте взять с собой пластинки и патефон. Свои любимые, старинные...»

Пал Палыч присел на табурет и побледнел. «Как же это вы, Лена?». «Что, угадала ваши мысли? Не трудно! Они у вас на лице, Пал Палыч!» Молчит. Говорю ему: «Идите, сейчас же идите, Пал Палыч, в партком! Сдайте секретарю партбилет!»—«Я! Сдать?! Да, вы с ума сошли! Я с таким трудом прошел в партию. Десять лет мучился в кандидатах». Он прошел, он мучился!... Кричу ему: «Сдайте партдокумент или езжайте добровольцем на фронт. На передовую...»—«Я?! У меня бронь до конца войны. Потом я нездоров. У меня... Вы забываетесь!» — завизжал Пал Палыч и убежал.



Ходила в партком. Долго не мог понять меня секретарь, о каком «душевном островке» я ему говорю... А потом весело смеялся. Пал Палыч напуган очень войной, растерялся он при эвакуации завода. Никакой из него не выйдет солдат. А инженер он знающий и полезный. Коммунист, ты права, очень неважный. Влияй на него. Главное сейчас — фронтовой заказ...

Вспоминаю я Артемова батьку, Фому Филиппыча. Как он меня воспитывал после моего побега из Академии! Чуть я тогда с рельсов не сошла... Если бы не он... Как нужны партии сейчас такие люди!



Пал Палыч перебрался на другую квартиру. В цехе встретит меня, бледнеет... Ежится, боится, словно ждет, что я его ударю. Какое счастье, что таких у нас единицы! Мой батя, фельдшер Максим, и его друзья, енисейские партизаны, таких, как Палыч, называли «липовый» или «редиска»... Пал Палыч «липовый» и примазавшийся». «Редиска» — это красный, революционный снаружи, а внутри беляк. Такого и разобла-

чить не трудно... Противно, когда рядом такой... Освободила я Пал Палыча от обязанностей агитатора. Мямлит, расхолаживает. Сам бледная скука, и людей заставляет скучать... А Ленин учил, чтобы агитатор вносил «дух бодр!»

*

Вызывали меня в райком. Посылают сменным парторгом на швейную фабрику. В царство дев! Фабрика фронтовая — все шьют для солдата...

*

Ах, девы, девы! И труд и сердца свои — все фронту. О фронте все думы и все разговоры. У пожилых — мужья и сыновья на фронте, у молодых — мужья, женихи, братья, у девчонок — отцы... Одни овдовели, другие каждый день ждут вдовства и сиротства. Но все надеются... Одевали мы новую дивизию — две недели мои девы не выходили из цехов. Лишь матери убегали на три-четыре часа, чтобы накормить и уложить спать детей. Задание девы закончили раньше срока, а вечером в большом цехе устроили вечеринку. Раздобыли где-то спирт, напекли картофельных пирогов, притащили патефон с пластинками. Пели песни. И бабьи со слезой, и солдатские, а больше фронтовые. Отплясывали лихо. Обнимали меня и шептали свое. Горе-горькое... А утром девы собрались на митинг в большом цехе, выслушали благодарности представителя дивизии и спели «Идет война народная...»

*

...На фабрике я больше не работаю! Снял меня райком. С выговором! А в общем-то смешно. Проводила я собрание дев в закройном цехе о текущем моменте. Жаловались мне девы: у одной талон на сахар пропал — дома она не была, да и некогда ходить по очередям; у другой — не отоварила растительное масло, пропал талон, а дома малыши... Хорошо бы пайки доставлять в корзинке, или в авоське прямо к рабочему месту. Дельно, конечно, но пока невозможно. Людей на фабрике не хватает. Объяснила. Дева, красно-рыжая, полногрудая, вышла к столу, смеется. «Не будьте вы, бабы, дурами да коровехами. Не давайте себя в обиду. Я свое выбираю полняком... Свое я из горла вырву!» Я ее спрашиваю: «Из чьего же ты горла вырываешь?! — «Скажу! Чего не сказать! Из любого! Из государственного...» — «Дрянь, говорю ты... Спекулянтка!» Дева от моего слова побледнела, вцепилась в мою куртку, трясет и шепчет: «Доберусь я до начальника, вот так

вцеплюсь, тряхну, а потом тяну из горлышка» ...Не выдержала я, схватила красно-рыжую за грудки и тряхнула к двери. Девы в голос! Выяснилось — красно-рыжая — Агния Кораблева. Это о ней в газетах писали. На митинге она заявила: «Гитлера-ирода ненавижу! Пока наши в Берлине его не прикончат — вот мое обязательство: «Агния Кораблева работает за себя и за своего мужа Андрея Кораблева, погибшего под Москвой, героя. Вот она — похоронная! Ношу ее у сердца и не расстаюсь. Заработанное за Серегу — на оборону, государству!»

Отдавала Агния свои продкарточки многодетным... А я-то думала!..

*

Райком направил меня в военкомат. На шаг ближе к фронту. Работаю в комиссии по устройству вдов и сирот.

*

Моего мужества едва хватает на полдня. Какой же широкой рекой льется женское горе!... Помню, в Академии, придя из Большого театра, мы ночь ревели от плача у Путивля Ярославны. Поражала ее печаль и тоска, любовь и надежда жен и невест того далекого... А тут сливаются слезы матерей, жен и ребячьи... В военкомат с «похоронной» приходит жена солдата, не одна, а со всей семьей. Думаю я только об одном — как бы скорее определить вдову на работу, устроить ее ребят. Будет у нее кусок хлеба, будут накормлены ребята, появится уверенность...

*

Могу сама судить о положении на фронте — по «похоронным». Забит коридор — на фронте большие бои. Одни вдовы сидят и плачут в военкомате часами, другие приходят с сухими глазами, выплакав свое дома; самые трудные — окаменевшие от горя, не выплакавшие еще слез. Смотрит такая мне в глаза, а меня не видит. Мою беготню вдовы встречают равнодушно, слова пропускают мимо ушей. Получат бабы пособие и тут же сговариваются: «Пошли в церковь! Панихиду по Митричу я буду служить. Поскорее, а то наберет панихид отец Михаил». Спрашиваю одну, молодую, на вид интеллигентную. «Вы, что, гражданка, в бога верите?» — «Что вы?! Не верю!» — «Так чего же собираетесь в церковь?» — «А куда же? Не в клуб же! Отец Михаил доброе слово скажет о моем муже. Хорошо он скажет, тепло... С хором его по-

мянет. Сама я поплачу, будто на похоронах Георгия побывала. Третью панихиду я заказываю. Куда мне деньги? Со мной бабы поплачут. А некоторых отец Михаил у себя оставляет на душевную беседу... А у вас здесь что? В кабинет не прорвешься, в коридоре холодина. Да вам и не до нас...»

*

Ходила я в райком. Секретарь очень внимательно меня слушал и записал. А записей у него не сочтешь! Сказал, что со мной он согласен и надо подумать, как доходить до вдовьих душ. Меня же обязал подумать. Тут же позвонил военкому — не забывайте о теплоте!...

*

Из головы не выходит эта встреча. Утром пришла в военкомат высокая, красивая женщина. Под темной косынкой волосы уложены венцом, в черном костюме. Подумалось — таких рисуют, когда хотят изобразить «Ночь». Зашла она и замерла у дверей. В руках у нее «похоронная»... Подхожу я к ней, беру бумагу, пальцы у нее ледяные и дрожат... Такие приходят к нам не за пособием. Оно им не нужно. Приходят в надежде, что произошла ошибка. Чего не бывает на фронте?! Не мог ее погибнуть! Заглянула я в глаза — заледенели. Такую наедине оставлять нельзя. В «похоронной» точно указано место, где захоронен, когда... Взяла я ее под руку и вышла с ней на улицу. Она оперлась на меня всем телом так, как человек теряет силы... Шли мы медленно и долго. На лицо она опустила вуаль, черную и густую... Не вижу я лица, а чувствую, как вся она дрожит. Так и пришли к ней. Большая и светлая комната. Всюду картины, картины. На стенах, столе, на рояле, и на картинах все люди. Улыбчивые, радостные. Пригляделась. Все больше она... На лугу. У березки. С полевыми цветами. У чертежной доски. У окна в солнечное утро. С книгой. За роялем. А на столике портрет военного.

— Он?

— Он...

— Его картины?

— Его...

Смотрела я картины, а она тихо-тихо плакала, спрятав лицо. Его! До позднего вечера смотрела. Чувствую, что я сама оттаяла среди запечатленного счастья. Удивительно полно отражена человеческая любовь. В первый раз за месяцы войны я заплакала. Заплакала навзрыд, как те, что приходят в военкомат. Она обняла меня. «Не надо плакать! Я потеряла любимого. Люди потеряли художника, талантливого и ду-

шой и мастерством. На фронт ушел он добровольцем. В первую же неделю ушел: не только уничтожать фашистов, но и рисовать героев. Солдат и офицеров. Смотрите... Она достала папку — на кусках ватмана и листках бумаги бойцы, бойцы, бойцы... Наброски. Лиц и глаз я не вижу, но фигуры бойцов, их устремленность... Она меня спрашивает — как звать. Елена? Елочка! «Разрешите мне вас так звать. А меня зовут Александра. Он меня звал — Ксана... Вы тоже зовите меня Ксана...»

Пили мы чай. Я ей рассказала про свою жизнь. Про нашу тайгу, Енисей, про учебу в Москве, про жизнь на стройке сибирского гиганта, про Анку, потерянную там... Рассказала я про Артема. Про то, что уезжала в Таежное, похоронила отца... Осталась у нее ночевать.

Утром, прощаясь, она обняла меня и сказала:

— Час, в который приходит в семью горе, может длиться неделями, месяцами, даже годами, если рядом не будет живой и добрый человек. Человек с настоящим сердцем...

...«Похоронная»... Кто придумал это слово? Слышу я его с раннего утра. Слышу весь день!... Оно снится мне...

*

Военком вчера сделал мне строгое замечание. «Вы не справляетесь! У вас в комнате долго торчат женщины. Нужно обслуживать и отпускать быстрее». Ответила я ему грубо: «Если нужен конвейер, то вставайте к нему сами»...

Перестала я считать минуты, подсаживаюсь, утешаю, не тороплю, пусть выплачется, прошу дать прочесть письмо последнее. Многие показывают мне письма от командиров и товарищей мужа или сына: погиб смертью храброго, не щадил себя, его полюбили и гордились в полку. Даже очень подробные письма про последний бой. Там, в полку, в батальоне находят же время, чтобы написать... Приносят боевые ордена и медали. Даже мужнины часы...

*

Сегодня я забегала к Ксане. Не узнала я ее. Строгое темное платье с высоким глухим воротником. Такое носила великая Ермолова. Волосы — уложенная венком коса. Говорю ей: «Ксана, что вы с собой делаете? Сразу на десять лет старше стали! Разве так можно?!» Отвечает без улыбки:

— Елочка, скажу вам, как сестре. Не могу и не хочу я его забыть. Тяжкая доля выпала в этой войне женщинам моего поколения. С фронта не вернутся миллионы мужей. Вы, историк, знаете, были времена,

когда вместе с погибшим мужем погребали его жену! Мы живем в другое время. Миллионы жен останутся живыми, но обречены до конца жизни быть вдовами. Завидую матерям — они любовь, все свои чувства перенесут на детей, целиком отдадут себя служению обществу. Заметьте, Елочка, после войны женщины будут особенно активны. Я?! Я буду строить. Я же небольшой архитектор... А вас, Елена, спаси судьба от вдовства...

*

Вчера в комиссию пришла Ксана. Попросила свести ее к военкому. Архитекторы пока не требуются, она хочет помочь мне. Военком согласился.

С вдовами у Ксаны получается куда лучше, чем у меня. Она умеет расположить женщин к себе. Как ее все слушают! С ней всегда «похоронная» и фотография мужа. Иногда она показывает. Но, больше — те сами чувствуют, что рядом с ними человек, испытавший такое же горе.

*

Самое у нас первое чтение и слушание по радио — от Советского Информбюро! Народное спасибо тому, кто его придумал... Совинформбюро ждут, слушают, а потом делятся между собой самым заветным. Ксана беспокойно поглядывает на часы, чего-то ждет, потом включает репродуктор. Слушает, затаив дыхание. Сообщают, что девушка-снайпер уничтожила семнадцать гитлеровцев. Ксана завистливо говорит: «Как я ей завидую!... Я бы днем и ночью мстила за разрушенные семьи, за погашенное людское счастье. Но не могу себя представить солдатом. А вот вас, Елочка, вижу. Вижу солдатом, с винтовкой! Даже представляю, как вы пробираетесь партизанскими тропами». Угадала ты, Ксана, мои мечты!

*

Меня посылают на курсы радисток. Под Москву. Оказывается, я давно снята с брони. Рекомендовала военкому вместо себя Ксану...

*

Учусь. Мне не до записей.

*

Ездили мы все в Москву. В Большой театр. «Иван Сусанин». В зале на всех ярусах почти все военные. Много военных женщин и девушек. Вспоминала, как студентами собирались мои девы в Большой. Сколько переживаний из-за платья, туфель, причесок... А тут: погладили гимнастерки, подшили крахмальные подворотнички, начистили сапоги. Отлично! Возвращались по затемненной Москве... Когда мы были уже за Москвой — началась воздушная тревога. Сошли с шоссе и наблюдали, как Москва отражала нападение.

*

...Еду на фронт!

*

Сегодня я ходила со снайперами в засаду. Выпросилась у майора. Командир отделения снайперов пожал мне руку: «Можешь, младший лейтенант, бить немца!» Но снайпер — не моя военная профессия... А жаль...

*

Уложилась! Беру только самое необходимое. Завтра меня забрасывают в партизанский отряд «Отца».

*

В землянке я одна. Полдень, но я должна крепко спать. Ночами мой выход на связь. Не спится. Вот уже двое суток я в отряде. Все началось так просто. Майор привез меня на аэродром — на поле за рощей... На опушке — крохотная, как воробышек, нахохлилась милая «удвашка». Знаменитая на весь мир «русь-фанер»! На ней я и полечу... Подошла. С крыла свалилась летчица. Скуластая, широкоплечая, очень похожа в своем комбинезоне на пестуна-медвежонка. Поздоровалась со мной, махнув рукавицей, и снова полезла к мотору. Как-то быстро стемнело. Летчица подошла ко мне, опустилась на траву рядом, сняла рукавицу, вытащила что-то из кармана.

— Бери, дева, сухарь! Жуй! Мне сухарь всегда помогает. Погрызу-пожую и все на свое место станет...

Беру сухарь и говорю:

— А ты, дева, с Енисея...

— Верно, с Енисея! — подтверждает и удивляется летчица. — Откуда ты меня знаешь? Я тебя ране что-то не встречала, а на людей я шибко памятливая.

— Я тебя тоже не встречала. А словечко? Дева! Нашинское, енисейское. «Девы» у нас в Таежном да в Минусе. Серы пожевать, дева, хочешь? Из Таежного тетка прислала.

— Да, ну?... Давай, давай! Я и вкус забыла...

Жуем мы серу как в девчонках, весело, с пощелкиванием, вспоминаем Енисей. Дева из Красноярска, Ветропыльская!... Инструктор аэроклуба. Летала бомбить, а после ранения теперь связная.

— Радистка?

— Радистка.

— Тогда тебя, дева, в отряде «Отца», как явления святой богородицы ждут....

Подошел майор из партизанского отдела.

— Рация погружена. Пора! Ну, что ж, младший лейтенант, прощайте. Ни пуха, ни пера!... Желаю удачи и счастливого возвращения!

Майор сжал мою руку, помог мне забраться в кабину. Взревел мотор. Самолет вздрагивает от нетерпения, почему-то я вспоминаю отцова иноходца, на котором он разъезжал по заимкам. Надеваю шлем. К шлему присоединена слуховая трубка. Слышу: «Дева, держись! Пошли!». Летим. Слышу как летчица вкусно пощелкивает серой. Свою я выбросила, когда садилась в самолет. Думаю, думаю... И так увлеклась, что не заметила... Самолет сильно тряхнуло, подбросило, мотор дико взревел. Мне показалось, что лопнули ремни, и я повисла в воздухе... Самолет запрыгал, накренился и замер... Мягкие женские руки, пахнущие маслом, коснулись моего лица. Это летчица. Моя землячка с тревогой спрашивает: «Жива, дева? Думала, не отдала ли ты, дева, душу? Ну и горазда же ты спать. Кричала, кричала тебе в шлемофон... Эх, ты... Трубка разъединилась. Ну, дева, выбирайся! Смотри, партизаны к нам бегут».

Пылают костры. В отсветах пламени вижу бегущих людей. Щеки мои горят от колючих усов и бород. Кто-то поцеловал меня в губы и оставил махорочный запах. Шагаю прямо в темень. Рацию и вещевой мешок отобрали у меня у самолета. С летчицей я не успела проститься, даже не спросила ее имени. Хороша же я...

Кто-то взял меня под руку и ведет. Под ногами с треском ломаются сучья. «Смелее, смелее, товарищ! Тропа без ям. Я пойду передом, а вы держитесь за мое плечо. До штаба километра полтора. Подсвечу!» Говорю: «Не беспокойтесь, по тайге хаживала и ночью, а тут редкий лесок...» — «Это пока... А потом пойдет гуще». Спрашиваю в темноту: «Как вас зовут?» — «Меня? Терентий... Состою для поручений при командире отряда». В партизанском отделе штаба армии я, готовясь, изучала письма, сводки. Многих партизан запомнила по фамилиям, а, пожалуй, больше по кличкам. Терентий?! Терень-искатель? Спрашиваю

темноту: «Это не вы искали немцев с голубой кровью?» — «Скажи на милость, знаете?! Маргарита это выдумала!» — «Что же, неправду писали на большую землю?» — «Что вы?! Из фашистской газетенки, выходит такая в Смоленске на русском языке, мы узнали, что для охраны Гитлера в Москве высшее фашистское начальство назначило особый батальон. В него отобрали немцев только голубой крови. Батальон уже выехал. Был я тогда в подрывной группе. Рельсы и стрелки взрывали... Конечно, хотелось, чтобы этот батальон взлетел...»

Нащупала я в кармане комбинезона сухарь. Оставила. Пусть напоминает мне «Большую землю»!

Тишину нарушил свист, резкий, долгий, и окрик. «Терень-искатель» остановился. Посвистал и сказал мне: «Держитесь крепче за мое плечо. Ну, вот мы и дома! Между прочим, вы будете жить во Дворце имени Полины Осипенко. Очень идейные девушки здесь живут: Маргарита — связная, Тоня — разведчица и Сима — снайпер... «Терень-искатель» засветил фонарик, и мы спустились в землянку. «Отдыхайте, товарищ радистка! Маргарита придет, как справится с почтой. Наверное, уже утро, Сима и Тоня только вчера ушли на задание. Спокойной ночи!» «Терень-искатель» зажег лампу-самоделку. Увидел у ног мой вещевой мешок. Он повесил на крюк, вбитый в столб. «По тревоге всегда мешок захватывайте с собой. Оружие кладите под изголовье. Я пошел! Лампу тушите. Не забудьте...»

Не помню, сколько просидела я в раздумье, не снимая куртки и комбинезона. Охватывало какое-то неведомое мне чувство — и тревоги, и тоски, и удовлетворения, наконец все вместе. Не могла разобраться, что во мне сейчас сильнее. Скрипнула дверь и упал на пол лучик. «Вы не спите? Отец приказал немедленно проводить вас в штаб. Очень желают посмотреть на вас и услышать новости». Терень-искатель!

В землянку я вернулась, когда сквозь кроны сосен пробивались тель!

Отец при мне вскрыл пакет, улыбнулся и сказал: «Ну, Тополь, начинайте действовать! С вашим прибытием у нас и сил прибавилось вдвойне». Смотрю я на него и не могу вымолвить слова. Откуда он знает мою девичью фамилию? Кто он? Если товарищ по землячеству московскому, то сразу бы его узнала. Наверное, так бы он не рассматривал, как обычно, при первой встрече. Смущенно и я разглядываю... Он заметил мое смущение и еще раз посмотрел в бумагу. «Точно, Тополь! Тополь — ваши позывные. Разве там не сказали?» Надо же!...

В партизанском отделе мне посоветовали в день прилета настроиться на Москву, подключить усилитель и порадовать партизан. Сказала об этом Отцу. Он одобрил. Рацию мне помог развернуть Терень-искатель. Он, как и Отец, да и все мужчины, с бородой. Только у него она как у барашка. Кудрявая...

На весь лес раздалось: «Говорит Москва! Говорит Москва! Доброе

утро, товарищи... От Советского Информбюро...» Я вышла из радиоземлянки. Вокруг толпились партизаны и партизанки. В жизни я не видела таких лиц. Озаренные, счастливые, гордые... Многие партизанки плакали, улыбаясь плакали... Подошел старик, все тут бородачи, но у этого борода седая. Обнял меня. «Спасибо тебе за праздник! Порадовала нас. Спасибо! Здорова наша Москва! Смотри какой голосище! Сильна матушка!».

Люди готовы слушать Москву весь день, но я помню наказ в штабе — береги питание, считай секунды!..

В землянку спустилась невысокая, темноволосая, с тоненькими косичками румяная девушка. В кожаных брюках и черной, расшитой незабудками, косоворотке, заправленной за пояс, в ладных сапожках. Рука у нее маленькая, ладошка по-детски мягкая и теплая. Шагнула ко мне и прижалась щекой. «Я за вами! Партизаны вас ждут».

Маргарита водила меня по лесу, по партизанским хуторкам. Меня усаживали в круг, и я рассказывала о «Большой земле». О Москве, Урале и Сибири, о фронте. Все, что вспоминалось, самое обычное, будничное. Круг становился все теснее, теснее. Меня держали за рукав куртки, чтобы я не ушла. Партизанки задавали без конца вопросы. Таких слушателей у меня никогда в жизни еще не было. Поразило спокойствие и собранность и какое-то, еще не виденное мною, внимание друг к другу...

*

Долго я упрашивала Маргариту рассказать о себе. Кое-как уговорила. Маргарита спит, ночью она дежурила со мною, а я у окошечка пишу. Все в отряде заняты, у всех поручения. Никто зря не бродит. Если сказано — отдыхай, то надо отдыхать... Маргарита — учительница. Только год и учительствовала. В первом классе. В немецком тылу оставил райком комсомола, по ее настоятельной просьбе. «В отряде я связная. Много раз переходила через линию фронта. В штабе армии меня знают. Перенесла на себе партийные дела. Обратно тащила, сколько могла взять, газеты, листовки и медикаменты. А когда выпал снег — сшила из простыней штаны и рубаху, побелила лыжи. Нет, все на себе не унесешь. Надумала я пробираться через линию фронта с лошадью. Подобрала в деревне одра белой масти, безголосого и беззубого. Ни разу не слышала, чтобы одер ржал. Кормила его месяц: парила и растирала солому, делилась с ним пайком, сухари мочила. Кое-как отмыла одра от грязи. Дед Антон смастерил ему соломенные калошки, я выбелила их. И дровни, и сбрую побелила. Провела одра через линию фронта — по болотам. В штабе армии одра поставили на усиленное питание. Командующий смеялся — может зубы еще вставить коняге. В лес привезла газеты, медикаменты и боеприпасы. Раза четыре переходила с ним линию фронта. Весной каратели нас окружили. Голодал отряд, ну и

съели моего одра партизаны... Все думаю о школе. Два года ребята потеряли. В лесу с ребятами опасно, а в деревнях за нами следят полицаи...»

*

Отбила сводку. Вышла из радиоземлянки. Шумит лес, но тихо, как бы стесняясь. Брянский лес! Сколько о нем я читала! Никогда не думала, что окажусь в самой гуще. И все же наша тайга под Саянами краше. Суровее, но краше... Ходишь там по тайге и никогда не устаешь. До верхушек сосен и кедра тайга напоена: через кору пробилась и скатывается к земле смола; источает свои соки пихта; дразнятся, точно облитые медом, кедровые шишки; из-под ног поднимается дух от пропаренных дождями и солнцем упавших прошлогодних шишек... День солнечный, а в тайге сумрак — под кронами кедрача и сосен. Выйдешь на пригорок, где деревья пореже, среди мхов — озерки краснеющей брусники. У троп по овражкам черемуховые заросли, такие пахучие. А то забредешь в багульник. А то идешь, идешь, версты и все шиповник... В школе и в Академии всегда сочинение я писала о тайге, о моей тайге... И наше Таежное! Догадается ли Артем написать в Таежное?.. Наверное, считает, что после смерти Максима Тополя в Таежном никого нет.

*

Не возвратилась с задания Сима... Такое у нас в отряде несчастье. Проснулась я от шепота и сдавленных рыданий. В эту ночь я на связь не выходила. Маргарита кого-то успокаивает: «Ну, не надо... Не надо, роднуля моя. Война! Мы же знали, на что шли. Без этого, видно, не обойтись...»

Перебираюсь к Маргарите. Чье-то мокрое от слез лицо уткнулось в мою грудь. Глажу голову, подстриженную по мальчишески. Сима или Тоня? «Ой, девушки, девушки! Ведь знаешь, что рядом ходит костлявая, ее не боишься, а отдавать подружку тяжко. Так страшно погибла наша Сима».

Значит, со мной Тоня — разведчица. Не вернулась Сима! То плача, то без слез, рассказывает мне Тоня про страшную смерть партизанки.

«Симу мы оставили, как и было приказано, — в домике лесника. Сюда должен прийти Ленчик, связной из села. Сима еще пожалела, зачем взяла снайперскую винтовку, стрелять не придется. Лесничиха баню в этот день топила. Сима решила вымыться и постирать бельишко. И бывает же... Нагрянули немцы и полицаи. Лесник бросился к сараю, вбежал по лестнице на сеновал, отбросил лестницу. Стрелял из винтовки. Сима стирала в бане. У дверей винтовка ее, снайперская, заряженная одной обоймой... Уложила она трех немцев, патроны в до-

мике... Немцы подожгли сарай. Симу окружили полицаи. Кричат: «Сдавайся, партизанка!» Озверели совсем, а у Симы нет патронов... Вырвалась она из круга и в... сарай. Лучше сгореть заживо, чем плен. Немцы палят в сарай. Отвалилась стена... Стоит обгорелая, с невидящими глазами Сима. Страшная! Волос нет, лицо черное... Полицаи ее оттащили от огня, поволокли с пожарища. Сима кричит: «Ничего не скажу! Десять раз умру, а ничего не скажу. Я партизанка!». Немцы растерзали Симу, а труп бросили в горящий сарай...»

Тоня ахнула и забилась. Маргарита поила ее водой из котелка.

Рядом постель Симы. Мне кажется, что я слышу ее дыхание. Протяну руку — пусто... В изголовье нащупала ватник. Уткнула в него лицо. Так я девчонкой прятала лицо в оставшуюся после смерти матери шаль... Чуть уловимый запах человека, с которым не довелось мне встретиться, ставшего мне в этот час любимой сестрой.

*

Ночью передала сведения, собранные группой, а также сообщение о боевых делах. О героической гибели лесника и Симы. Погиб и мальчик, сын лесника. Бросился он с лестницей к горящему сараю, чтобы спасти отца. В штабе рассказал об этом Ленчик...

*

О Симе. Как все партизаны, Сима имела смену белья, всегда ходила в синем платье с горошком. Уходя на боевое задание, надевала солдатские брюки, гимнастерку, платье свертывала и прятала в вещевой мешок. В отряд пришла откуда-то из Белоруссии. Назвалась Кричевской. Может быть фамилия, а может, и кличка по городу, где жила. По специальности она техник. Очень любила лес. Могла смотреть часами на елочку и утверждала, что видит, как та растет. Много пела. Вот и все. Хороший снайпер — била без промаха. Смелая... Под ватником я нашла «Наставление снайперу» и томик стихов Некрасова. Ни писем, ни фотографий. В томике Некрасова листки законспектированной статьи В. И. Ленина «Партизанская война». Вот и все. Ватник на память о подруге взяла Тоня-разведчица. Томик Некрасова вернули командиру отряда. Его книга. Маргарита взяла себе «Наставление». Оказывается, она была до партизанского отряда в истребительном батальоне. Листки с записями ленинской статьи я оставила себе.

*

Вызвал к себе Отец. Иду в партизанскую командировку. В штаб дивизии. Очень заболела там радистка. Рацию свернула.

*

Прошло две недели. Работы у меня много. Урвала час и пишу. Держу связь с «Большой землей», с отрядами. Ухаживаю за Аничкой. Вот о ней и хочу записать. Про Аничку я слышала еще на курсах. О ней рассказывают легенды. Ранней весной ее забросили на парашюте к партизанам. При спуске парашют зацепился за верхушку сосны, Аничка выпала из ремней, разбилась, да еще примерзла к земле. Отыскали ее партизаны и принесли в деревню. Лежала она в избе на большой кровати, маленькая, как школьница. В избу набились женщины, смотрели на нее и в голос ревели. Одна причитала: «Гитлер перебил взрослых. До ребятишков мы дошли. Ребенка нам с самолета сбросили». Курсантки, рассказывая, посмеивались надо мной: «Если бы тебя, Елена, сбросили? Небось, позавидовали: и живут же люди на Большой земле! Смотри-ка какую нам сдобу сбросили...» «Детишка!» Начальник курсов рассказывал нам про Аничку: «Пробралась она к немецкому аэродрому, забитому самолетами, но скрытыми, навела наших штурмовиков и бомбардировщиков и так ими командовала, что от аэродрома и самолетов и щепки не осталось»...

Во время моих сеансов Аничка бодрствует. Едва сдерживая стоны, подсказывает, а глазенки ее горят ревностью. Любуюсь я Аничкой... Над собой она посмеивается. «Горе я луковое. В школе, мы, курсанты, прыгаем с парашютами. Все прыгнут в указанное место, а меня обязательно отнесет. Пушок!» Это я тоже слышала. По полдня искали Аничку, потом догадались — мешок с песком к ней привязывали. Спрашиваю Аничку — как она прыгала в отряд, может быть, курсантки прибавили, на то и легенда. «Ой вспомнить, Тополь, страшно и смешно. Вывалилась!... Перед командиром предстала лежачая, в полусознании: перелом правой руки, левая вывихнута, локтевой сустав раздроблен, тазобедренные повреждены. И еще — воспаление легких. Простыла на земле. И... еще обморозилась. Командир меня спрашивает: «Сколько тебе нужно суток, чтобы могла сесть за рацию. Очень нам нужна связь. Умирать тебе, девочка, нельзя!» Правая рука моя еще не действует, левая еле-еле, сидеть я не могу, реву от боли, а выстукиваю морзянкой... Раз нельзя умирать!»

Листки статьи В. И. Ленина, переписанной Симой, я отдала комиссару. Аничка ему сказала. Ее потрясло, что слова «народные мстители» принадлежат Владимиру Ильичу. Это Ленин назвал партизан народными мстителями! Прежде чем отдать листки, решила кое-что выписать в тетрадь, из подчеркнутого Симой. «Партизанское движение сообразовано с настроением народа». «Оно необходимо в крупные промежутки между большими сражениями». «Партизаны явление аб-

солютно неизбежное». «Партизанское движение — форма вооруженной классовой борьбы». «Партизанская армия — армия социализма против империализма, когда он нападает на социалистическую страну. Это армия народных мстителей!» Сима крупно выписала: «Спасибо, Ильич, спасибо! Великая гордость и честь быть народным мстителем!»

Партизанский фронт! Куда ни выйдешь — всюду передовая. У партизан враг и на востоке, и на юге, и на западе, и на севере. В полчаса партизанский тыл становится передовой. Всего не хватает. Кроме одного. Ненависти к врагу. Этого у партизан, говорила мне Аничка, хватает с избытком! В партизаны никого не мобилизуют, не зовут. В партизаны идут по велению сердца и долга мужчины и женщины, парни и девушки, идут, чтобы отдать свою жизнь ради других жизней. На «Большую землю» отправляют только тяжелораненых. А другие... Остаются в отряде, при случае берут оружие. Оружие никто не сдает..

*

Вернулась в отряд Отца. Так обрадовалась! Дома!

*

Сегодня много смеялась. Терень-искатель признался, вышученный Тоней и Маргаритой. Верно, искал он немцев с голубой кровью. До того увлекся, что чуть сам не попал к немцам. Пустят партизаны под откос эшелон, спешно отходят. Такой порядок! А Терень медлит, ползет вперед, чтобы разглядеть убитого немца — не с голубой ли кровью? Симе он не верил, а врачу пришлось поверить. Кровь-то одна, а вот души разные. У фашистов черные... Терень-искатель в свою очередь напомнил девчатам, как они... выпендривались перед немцами. Ну и словечко! Захватили однажды партизаны двух немцев. Оказались они чиновниками, довольно крупными. Один архитектор, другой юрист. Бывали в Лондоне и Париже... Привезли их в отряд. Трясутся! Еще бы! Попали к разбойникам! Чего только не писали о партизанах немецкие газеты... Что за наваждение? — Партизаны опрятно одеты, умыты, выбриты, а немцев чиновники видели грязными и обовшивевшими. Узнав, что архитектор жил в Париже, командир отряда заговорил с ним по-французски. Пришла Сима — стала расспрашивать по-немецки. А удивила всех Маргарита. Явилась в голубом платье, в красивом джемпере, ну и по-английски спрашивает, что видел юрист в Лондоне? Написали они перед отправкой в штаб, что партизаны очень культурные люди и что Геббельс болтун и враль...

*

Пришла с концерта. Под соснами — и сцена и зрители. Вел концерт Терень-искатель. Вел он весело, озорно. Отец читал нам Некрасова. И как он читал! «Идет-гудет зеленый шум!» Над головами шумят сосны. Отца долго не отпускали. Он наизусть знает чуть не всего Некрасова. Наш командир до войны учитель литературы.

А потом пели. Красиво, согласно пели. Тоня и Маргарита плясали под гармонь. «Брянскую». Переплясала Тоня-разведчица... Думала я, глядя на Тоню... Лев Толстой описал танцующую Наташу Ростову. А кто опишет нашу Тоню?... Сколько доставила она партизанам радости...

*

В окружных селах и деревнях, в нашем отряде давно нет соли. О соли мы мечтаем, говорим о ней самые ласковые слова. Все время в голову приходят подробности русских соляных бунтов. Каждый грамм соли на учете. Его выдают как самое драгоценное лекарство — награду. Люди болеют от пресной пищи. Особенно болеют дети. Запросила я «Большую землю». Обещали. Но прежде всего нужны, очень нужны боеприпасы...

*

Тоня-разведчица принесла радостную весть. Немцы завезли на свой пристанционный склад соль. Завтра наш отряд произведет соляную операцию — налет на станцию. Взять соль! Унести как можно больше соли! Упросила Отца взять меня с собой. Терень-искатель распределяет мешки, рюкзаки и сумки. Подвод не будет. Идем лесом...

На этом записи Лены Тополь кончаются. С задания она не вернулась.

ЛЕНИНСКАЯ РУБРИКА

Б. КРАСНОПОЛЬСКИЙ

„ПРО НАШЕ ДЕЛО, ПРО ВСЕ РУССКОЕ ДЕЛО..."

НАХОДКА

К деревянному дому по улице Пролетарской я шел второй раз. Два дня назад я уже был здесь. Николай Петрович болел, лежал в постели, и мы смогли только недолго поговорить. Я узнал, что он родился и вырос на железоделательном заводе Чермоз, в 1919 году вступил в комсомол, окончил трехмесячные партийные курсы (политэкономию на этих курсах читал Емельян Ярославский), в 1922 году поступил на рабфак, потом, уже в Томске, учился в технологическом институте... Мне хотелось посмотреть документы тех далеких лет, но Николай Петрович сказал, что сейчас показать их не сможет, они заложены какими-то вещами, вот денька через два...

И я пришел через два денька. Он достал большую толстую папку и развязал ее. Документов было множество: и первый, без обложки, комсомольский билет, и делегатские удостоверения, и рабфаковские фото, и даже свидетельство царского времени со многими орлами — об окончании Николаем Петровичем первого класса школы. Все это было отлично сохранено, я ахал и охал от восхищения, он же посмеивался и показывал все новые и новые бумаги. Потом сказал: «А вы знаете, у меня есть рабочие газеты за 1905 год». — «За девятьсот пятый год?» — не веря, переспросил я. — «Да». Он надел пальто, вышел и минут через десять принес небольшой сверток, закутанный в несколько «одежек». Первой «одеждой» служили «Известия» за 27 декабря 1960 года. Второй — «Торгово-промышленная газета» (орган Высшего Совета Народного Хозяйства СССР и РСФСР) за 26 декабря 1929 года, третьей, последней — остатки газеты «Тульская жизнь» от 11 марта 1906 года. И, наконец, открылись белые, словно недавно из типографии, папиросные страницы рабочих газет. На одной из них стоял конторский синий штамп: «Комит. Росс. Социал-Демократ. Рабоч. Партии, Сибирский Союз». Быстро перебирая номера, я, наконец, увидел на последней странице «Пролетария»: «Адрес для сношений из-за границы: V. Oulianoff, 3, rue de la Coline 3. Geneve (Suisse). Газета была подписана Лениным!

Как же попал «Пролетарий» в Нижнеудинск?

А вот как. В 1929 году Николай Петрович в Томске женился. Надо

было искать жилье. Поискали-поискали — не нашли. Тогда молодожены самовольно вселились в комнату двухэтажного дома, реквизированного у купчихи. В этом доме № 10 по Нечевскому переулку, на чердаке, и нашел Николай Петрович зарытыми в сухой песок номера рабочих газет. И потом, где бы ни работал коммунист Нечаев — в МТС, главным инженером, на механическом заводе в Алзамае, в Нижнеудинском отделении дороги — всюду он бережно хранил старый сверток, привезенный из Томска.

ЛЕНИН В РЕДАКЦИИ „ПРОЛЕТАРИЯ"

Листаю летопись партии.

Январь 1903 г. «Сибирский социал-демократический Союз» заявил о вступлении в РСДРП и признании «Искры».

Февраль 1903 г. Иркутский и Красноярский комитеты РСДРП признали «Искру».

Март 1903 г. Томский комитет РСДРП издал заявление о признании «Искры».

Ноябрь, в ночь на 3. В Иркутске арестованы руководители Сибирского Союза РСДРП. Центр Союза переведен в Томск.

Вот почему на одном из «томских» номеров стоит штамп Сибирского Союза. Тем более, что в Иркутске полиция не только разгромила комитет, но и ранее еще захватила его подпольную типографию. После этого указания и нелегальная литература в города Сибири и Дальнего Востока шла уже из Томска. Под штампом Союза в одной из газет написано от руки черными чернилами «Хабаровскъ». Может, весь сверток, который у меня в руках, должны были переслать в Хабаровск, но этому помешала полиция? Потому-то и закопали на чердаке в песок? Впрочем, сейчас можно только гадать...

Листаю летопись дальше.

22 ноября 1904 г. В Женеве состоялось совещание большевиков под руководством В. И. Ленина. Принято решение об издании большевистского органа — газеты «Вперед» и намечена редакция — В. И.Ленин, В. В. Воровский, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский.

А преемником «Вперед» был «Пролетарий». Тот самый «Пролетарий», номера которого нашлись в Нижнеудинске. Вот почему в «адресе для сношений из-за границы» стоит фамилия Oulianoff. Ведь редакция в «Пролетарии» была та же, что и в газете «Вперед».

«Редакция... была у нас дружная... — вспоминает Анатолий Васильевич Луначарский. — ...царило повышенное и, я бы сказал, радостное настроение. Думаю, что это настроение для нас, большевиков.., в значительной степени, определялось самим Ильичем.

Он был всегда бодр, у него всегда был великолепный жизненный тонус. Прекрасно сознавая все опасности, грозящие беды, недостатки и т. п., он тем не менее всегда оставался верен своему оптимизму, ко-

торый диктовался, с одной стороны, уверенным марксистским прогнозом, а с другой стороны, изумительным темпераментом вождя.

Несомненно, — продолжает Луначарский, — самым крупным работником не только по своей политической подготовленности, по своему авторитету, по своему трудолюбию, журналистской хватке, по количеству работы и по количеству результатов, которые эта работа давала, был Владимир Ильич. «Вперед» и «Пролетарий» — это были органы прежде всего Владимира Ильича. Большинство статей были написаны им. Большинство корреспонденций, обработок, заметок писалось им, и мы трое остальные — Ольминский, я и Орловский (В. В. Воровский. — **Б. К.**), вероятно, создали не более трети всего содержания номеров, а две трети приблизительно... все основное было результатом работы Владимира Ильича.

...Редакционная работа заключалась прежде всего в выработке плана номера. Общий план не обсуждался. Ясно было, что должны быть корреспонденции, фельетоны, передовая статья, кроме того, несколько подстатей политического характера, и затем как можно больше материала русской хроники... За русскими событиями мы следили чрезвычайно усиленно. Мы разделили между собой все газеты, но Владимир Ильич проверял все, и, таким образом, он читал свою порцию, а кроме того, все наши порции...

...Часто статьи обсуждались заранее. Это бывало и со статьями, которые писал сам Владимир Ильич и мы... Какая-нибудь статья, принадлежащая тому или иному автору, всегда выправлялась Владимиром Ильичем, вставлявшим ту или иную фразу, изменявшим конец...

Были и такие случаи, когда статьи Владимира Ильича подвергались переработке.

Владимир Ильич был человеком в этом отношении без всяких внешних аллюров (здесь — замашек, манер) вождя. Вождем он был потому, что он быстрее всех понимал, шире других развертывал идею, крепче умел выразить, быстрее работал, и все эти великолепные качества журналиста делали его вне всякого спора первым. Но какого-либо внешнего честолюбия, обидчивости, желания красоваться на первом месте у него совершенно не было. Он необыкновенно кротко выслушивал замечания Ольминского, что какая-то фраза не по-русски составлена, что синтаксически она не верна, а иногда и политически недостаточно крепко сказана. Он часто сам переделывал, искал лучшей выразительности, а когда ему указывали удачную форму, он с большим удовольствием ее принимал».

Вот как работал Ленин в редакции «Пролетария».

Оптимизм его, говорит Луначарский, диктовался, с одной стороны, уверенным марксистским прогнозом.

Читаю передовую статью двадцать четвертого номера «Пролетария», сохраненного Нечаевым. Написана Лениным (кстати, в этом номере им написаны три материала). Называется «Первая победа револю-

ции». Заключительные слова: «...ваша (рабочих и крестьян России — примеч.) победа будет сигналом всемирной борьбы против тирании капитала, борьбы за полное, не политическое только, но и экономическое освобождение трудящихся, борьбы за избавление человечества от нищеты и за осуществление социализма».

«Всемирным сигналом» стал октябрь 1917 г. А эти строки были написаны еще в 1905...

Изумительный темперамент вождя, говорит Луначарский. Он быстрее всех понимал, шире других развертывал идею, крепче умел выразиться...

Читаю передовую следующего номера «Пролетария» — двадцать пятого. Называется — «Приближение развязки». Последний абзац: «Всероссийская политическая стачка превосходно исполнила свое дело, подвинув вперед восстание, нанеся страшные раны царизму, сорвав гнусную комедию гнусной Государственной Думы. Генеральная репетиция окончена. Мы стоим, по всей видимости, накануне самой драмы. Витте истекает в потоках слов. Трепов истекает в потоках крови. У царя осталось слишком уже мало обещаний, которые он мог бы еще дать. У Трепова осталось слишком мало черносотенного войска, которое еще можно будет двинуть в последний бой. А ряды революционного войска все растут, силы закаляются в отдельных схватках, красное знамя поднимается над новой Россией все выше и выше».

В этой концовке — и изумительный темперамент, и широта идеи, и крепость выражений, и ясная, непоколебимая вера в пролетарскую революцию.

Но сила Ленина была не только в уверенных марксистских прогнозах и необыкновенном темпераменте вождя. Сила его была и в неразрывной связи с жизнью рабочих и крестьян, знание которой и позволяло ему делать точные, верные политические выводы. Он тщательно взвешивал в Женеве любое известие, пришедшее из России, определяя его значение, он умел незаметно «выпотрошить» все новости из только что приехавшего «свежего» человека.

Ленинская «Искра» была связана более чем со ста населенными пунктами на родине. Не был далеким для «Искры» и «Пролетария» и наш сибирский край.

ЖЕНЕВА — СИБИРЬ, СИБИРЬ — ЖЕНЕВА

Шел революционный 1905 год. «Народ бился на баррикадах от Ревеля до Одессы, от Польши до Сибири», — писал «Пролетарий».

Якутск. В последние годы туземное население Азиатской России начинает пробуждаться к национальной жизни. Многим памятны, вероятно, недавние волнения бурят. В 1903 г. можно было видеть в Красноярской тюрьме двух киргизов, сосланных в качестве политических, за гектографирование листков к своим сородичам. Теперь наступила очередь якутов. В лето 1904 г.

происходили по улусам и наслегам сходки всего взрослого мужского якутского населения. На них формулированы были 2 требования: расширение самоуправления и отмена ссылки в Якутскую область. «Наша земля — для нас, а не для русских преступников, и мы проживем своим умом лучше, чем умом Вашей полиции», говорил нам молоденький писарь, горячий защитник политического возрождения своего народа. Оживленная агитация и горячие споры приурочивались, главным образом, к вопросу о мерах воздействия на правительство. Одни — и в том числе молодая якутская интеллигенция— указывали на печальную участь бурятских ходатайств, совершенно отрицали легальные пути и предлагали собраться полуторатысячным отрядом в Якутске (почти каждый взрослый якут имеет ружье) и держать его в своих руках, пока из Петербурга не придет удовлетворительный ответ: стоящая в городе сотня солдат ничего де с такой силой поделать не сможет... Другие— особенно зажиточные, руководящие круги, — находя ненужным и вредным вызывающий образ действий, настаивали на посылке депутации к царю от всего якутского народа...

Красноярск. 17 января (из частного письма).

«...Сейчас только вернулся с демонстрации, произведенной на большой улице рабочими. Толпа рабочих человек в 300, непрерывно увеличивавшаяся притоком публики, от Нового базара направилась к губернаторскому дому, дойдя до сквера Пушкина, она встретила на пути сотню казаков, перегородивших улицу. Остановились, поговорили речи, пели; простояв с час, толпа двинулась обратно; около Гадалова улица снова была перегорожена ротой солдат; сзади казаки, впереди солдаты. Оставалось свернуть в переулок, что и сделали; вдруг спереди оказались снова солдаты и казаки. Казаки задние с гиком пустились в толпу, но не дрались, а заключили ее между двумя рядами, на сравнительно очень маленьком пространстве. Минута была критическая; думали, будут драться, но вот показывается губернатор, велит казакам разойтись, а сам направляется к публике и вызывает депутатов. На чем порешили — не знаю, но после этого толпа двинулась к мастерским на Новом базаре, снова запели, но дошли без инцидентов. Рабочих, оказывается, разрезали на две части около мастерских, почему их пришло сравнительно мало. В конце концов войска оказалось далеко больше, чем демонстрантов».

Томск. Из третьего письма[1]:

«Результат демонстрации: более 100 ранено. Из них есть раненые смертельно. Арестовано около 170 — 180 человек. Убиты: знаменосец, 1 студент, 1 рабочий, мальчик 13 лет, ученик ремесленного училища, гимназистка 5 класса и городовой. Избиение страшное. Били обезоруженных, лежачих с криком: «Добивать эту сволочь!» Исправляющий должность губернатора Бирюков присутствовал при бойне. Били нагайками, шашками. Масса рубленых ран. Казаки дали несколько залпов из винтовок. Полиция пристреливала раненых. В городе страшное возбуждение. В какую форму оно выльется — трудно сказать.

Известны пока имена убитых: гимназиста Андрея Елизарова и гимназистки Осколкиной».

Иркутск. Работа кипит вовсю. Собрания — рабочие, интеллигентские, рефераты, листки — то и дело, были собрания по 100—150 человек.

Недели две назад происходила стачка всех типографщиков, добились самых незначительных уступок. Только что окончилась стачка приказчиков, длилась 5 дней, все магазины были закрыты. Приказчики, в количестве 600—800 человек, собирались в своем клубе. Были тут социал-демократы. Сначала во всей массе преобладало настроение против политических ре-

---

1 В газете публиковался цикл писем из Томска. **(Ред.)**

чей и ораторов обрывали, но под конец отношение изменилось в пользу социал-демократов.

Идея всеобщей стачки прививается. Есть основания ожидать успеха ее.

А вот срочные сообщения, напечатанные в обозрении «Пролетария». Обозрение называлось «Революционные дни в России».

Красноярск. 13 октября. На сибирской железной дороге началась стачка, которая будет продолжаться до вторника.

Иркутск. 13 окт. Служащие Забайкальской железной дороги начали стачку.

Сибиряки не только сообщали в «Пролетарий» о своей революционной борьбе. Они посылали Ленину подробные отчеты комитетов, выпущенные нелегально листовки, воззвания. На последней странице двадцать четвертого номера «Пролетария» читаю: «Редакцией «Пролетария» получены листки, изданные: ...Иркутским Комитетом: 1. Рабочие! В Чите идет с 27 июля громадная стачка... 2. Ко всем рабочим и работницам г. Иркутска; Красноярским Комитетом: 1. Отчет Комитета за июль 1905 года. 2. К рабочим железнодорожных мастерских и депо; Сибирским Союзом: 1. Сборный лист № 23. 2. Отчет стачечной кассы. 3. Отчет сибирского Союза за июнь, июль, август...»

* * *

Рабочие люди России любили ленинские газеты. «...Я многим товарищам показывал «Искру», и весь номерок истрепался, а он дорог, много дороже «Мысли»... («Рабочая мысль» — орган «экономистов». — **Б. К.).** Тут про наше дело, про все русское дело, которое копейками не оценишь и часами не определишь...» — так писал в «Искру» один из петербургских мастеровых.

К. ГРЮНБЕРГ

СКУЛЬПТУРЫ ГОЛУБКИНОЙ В ИРКУТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Анна Семеновна Голубкина начинала свой творческий путь в годы упадка русской скульптуры. Ее работами, как и работами немногих ее современников, начался подъем русской скульптуры, продолжавшийся уже в советское время. Но Голубкина острее и глубже, чем другие скульпторы, ее современники, отразила биение пульса своего времени, его тревоги и противоречия. Она создала первый образ рабочего в русской скульптуре, первый портрет Карла Маркса и большую серию портретов деятелей русской и советской культуры.

Прожив тяжелую жизнь труженика и аскета, она считала, что жизнь — это путь к справедливости, к добру и правде, а искусство — одно из средств утверждения себя на этом пути.

По глубине и значительности художественных образов творчество А. С. Голубкиной является одним из главных звеньев, связывающих дореволюционное и советское изобразительное искусство.

Анна Семеновна Голубкина родилась в 1864 году в г. Зарайске. Рано потеряв отца, она помогает матери вести большое хозяйство постоялого двора. Провинциальная жизнь древнерусского городка, заезжие крестьяне и ямщики, рассказы деда, острая нужда фабричных рабочих — вот впечатления детства и юности художницы.

Не получив даже школьного образования, в 25 лет она решается отправиться в Москву, чтобы поучиться лепить мелкие вещи прикладного характера. Начав обучаться у скульптора Волнухина в частной школе Гунста, она переходит затем в Училище живописи, ваяния и зодчества, где учится у скульптора Иванова. В годы упадка скульптуры во второй половине XIX века С. И. Иванов был почти единственным педагогом-скульптором, сохранившим традиции русской классической скульптуры, и Голубкина впоследствии всегда с благодарностью о нем вспоминала.

К последнему году пребывания в училище относится ее ранняя работа «Учитель». Это портрет учителя П. С. Проселкова, который помогал ей своими советами еще в Зарайске. В этом бюсте уже проявились черты, отличающие большинство работ мастера, чуткость к простым людям, внимание к их духовной жизни. Учитель работает и думает, как думает большинство персонажей Голубкиной. Здесь еще слабо раскрыт характер, не богаты художественные приемы, но намечается уже самобытная манера лепки живым, энергичным мазком, проявляется понимание пластических возможностей глины.

В 1894 году Голубкина оставляет Училище, чтобы закончить свое образование в Академии. Так поступали многие воспитанники училища. К этому времени уже определились задачи и свои требования к художественному труду она познала уже радость творчества, появилась «необузданность» в работе, как она тогда писала. Устаревшие методы преподавания в Академии угнетают ее, и, воспользовавшись временным закрытием Академии по поводу студенческих волнений, она, проучившись около года, уходит из нее.

С 1895 по 1902 год Голубкиной удается совершить три поездки в Париж,

учиться там в школе Коларосси, пользоваться консультациями Родена, изучать технику работы в мраморе. С Роденом ее роднит повышенная психологическая выразительность работ, достигаемая особой техникой лепки с глубокими провалами теневых частей, с резким, энергичным мазком, техникой, придающей работам импрессионистический, этюдный характер[1].

От всемирно известного Родена она ждала решающего суждения о своих работах, и его одобрение развеяло сомнения в правомерности избранного ею пути, окрылило художницу.

Часто бывая в родном Зарайске, Голубкина принимает живое участие в жизни фабричных рабочих, организует самодеятельный театр, помогает распространению нелегальной литературы.

В 1897 г. появляется «Железный». Эта маленькая голова полна железного упорства, первобытной грубой силы. Выступающие костистые скулы, толстые губы и сумрачный взгляд — все это цельно, конструктивно и монументально построено скульптором. Детали выполнены крупно. В том же 1897 г. была сделана голова «Рабочего» (Государственная Третьяковская галерея). Иркутская голова «Рабочего» — это третья вещь, где скульптор дает образ труженика. Этот «Рабочий» — вчерашний крестьянин, ушедший от бесправия и безысходной нищеты в деревне и попавший в нужду и бесправие города.

Как и другие персонажи, созданные скульптором в эти годы, он близок босякам Горького, только, в отличие от литературных собратьев, в нем сильно выражена печать скорби и безысходности. И не романтическая мечта о лучшем будущем, а смутная доморощенная философия осложняет этот образ рабочего-крестьянина, вся прошлая жизнь которого «научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы»[2]. Таким романтически неясным, но полным первозданной стихийной силы, которую он сам еще оценить не мог, впервые вошел рабочий в русскую скульптуру[3].

Лишь позже пессимизм и сумеречность «Рабочего» приобретут в «Идущем» (1903 г.), «Сидящем» (1912 г.) и других работах автора грозную силу и решительность. А этюд фигуры «Рабочего» 1909 года прямо связывает Голубкину этих лет с советской скульптурой, ибо в нем была воплощена та пластическая идея, которая так хорошо знакома нам по работе Шадра «Камень — оружие пролетариата».

Судьба руской женщины, острая боль за ее тяжелую долю постоянно тревожили художницу. «Марья» — один из ее ранних женских образов. Голова выполнена с домашней работницы семьи Голубкиных. В лице этой работницы художница нашла черты русской женщины, о которой А. Н. Некрасов сказал «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Иркутскую голову надо считать этюдом с натуры, по которому в том же 1903 году был выполнен мраморный экземпляр, находящийся в Государственной Третьяковской галерее. Видимо, «Марьей» художница была довольна, если, показывая ее своей подруге, назвала царевной. В отличие от мрамора, где обобщенность, мягкость и внешнее спокойствие в известной мере обусловлены самим материалом, иркутская голова более динамична и сурова, тут больше психологических контрастов и индивидуализации. Твердость характера, живость натуры здесь переданы непосредственнее, острее, чем в мраморе.

Страдание и горе были темой многих работ Голубкиной. Это основной мотив ее дореволюционного творчества. Чтобы рассказать о мятущейся душе русского народа, какой она ее понимала накануне первой русской революции, чтобы запечатлеть красоту порыва к лучшему, иногда очень противоречивую гамму

---

1 О сходстве манер этих двух мастеров говорят уже ранние работы Голубкиной, возникшие до поездки за границу, например «Старик» 1891 года. Это обстоятельство не позволяет делать вывод о каких-нибудь заимствованиях у Родена.

2 В. И. Ленин. ПСС, изд. 5, т. 17, стр. 211.

3 Стоит вспомнить, что первое воплощение образа рабочего в русской живописи (Касаткин) лишь на несколько лет предшествовало созданию «Железного» и «Рабочего», а в литературе настоящий рабочий-революционер появился лишь после революции 1905 года в романе Горького «Мать».

переживаний, не годились приемы академической школы. Художница ищет, вырабатывает свой стиль. Она ловит редкие моменты, когда лицо человека выражает душевное состояние и стремится его запечатлеть. Отсюда иногда торопливость и нервозность мазка, акцент на выражении взгляда, игре губ, но упускается подчас композиционная собранность, нарушается симметрия. В бронзовой голове «Марьи» это хорошо заметно.

За два предоктябрьских десятилетия Голубкиной создано около двадцати скульптур ретроспективного плана. Это вещи, носящие заметное воздействие символизма (большей частью декоративные), и вещи на религиозные мотивы. Наибольшее количество последних относится к 1911 году. Среди нах «Апостол Петр» Иркутского музея. Скульптура эта сделана необычно. Голова апостола изображена в полный объем, а ниже — шея и грудь решаются плоским рельефом, почти рисунком, словно бы скульптор хотел утвердить реальность духа и мысли человека, а тело, плоть его дать невесомо, намеком. У апостола лицо праведника — искателя правды, лицо человека откровенного, с мягким характером и несколько смиренного, такое, каким и должно быть лицо Петра. И многое в нем от русского крестьянина, терпеливого работника.

Ко времени создания «Петра» относятся портреты писателя А. Н. Толстого и хранителя музея изящных искусств А. В. Назаревского.

В творчестве Анны Семеновны Голубкиной трудно выделить какие-либо четкие периоды. В искусство она пришла с уже сложившимися убеждениями, и все ее творчество развивалось без резких переломов и изменений. Но 1910—1912 годы можно считать рубежом, с которого художница обретает уверенность зрелого мастера. Ее художественный язык точен и выразителен. К этому времени исчезает романтическая недосказанность ее ранних работ, строже становится композиционный строй, решительнее, индивидуальнее характеристика.

Когда свершилась Октябрьская революция, Голубкиной было 53 года. Несмотря на тяжелую болезнь она пришла в Моссовет, чтобы предложить свои услуги. Некоторое время она работала по ликвидации беспризорничества и преподавала в художественных вузах. Но врачи надолго запретили ей заниматься работой, требующей больших физических усилий, и ей приходилось ограничиться изготовлением вещей прикладного характера.

Одной из первых работ, выполненных после длительного перерыва, явился мраморный бюст мальчика, названный ею «Рыцарь». Само название говорит о том, что автор хотел подчеркнуть самоотверженность, чувство долга в этом мальчике. По устному свидетельству близких к скульптору людей она пыталась создать образ мальчика из нового поколения растущей советской молодежи, выразить в нем стремление к лучшему будущему. Вполне возможно, что «Рыцарь» — это новое воплощение замысла ее ученической работы: «Мальчик, выходящий в бой». Однако у «мальчика» было много бытовых черт, в «Рыцаре» снято все бытовое. Композиция решена строго фронтально. Образ сильно обобщен. Ничто не привязывает его к какой-либо ситуации или эпохе, он вне времени. Возможно, что сложность и новизна задачи определили эту отвлеченность образа, которая сродни символистам. Работа, видимо, выполнялась с натуры и осталась незаконченной.

Портрет Л. Н. Толстого явился последней крупной работой Голубкиной. Выполнен он по заказу Музея Л. Н. Толстого. Толстовское учение издавна занимало художницу. Ей нужно было до конца разобраться в нем, и вот в 1903 году она встречается со Л. Н. Толстым. Встреча окончилась резким разговором. Больше они не видились. Через 23 года ей пришлось работать над его портретом. Как правило она не начинала ни одной своей работы, пока образ не складывался в ее сознании. Иногда это вынашивание образа было настолько плодотворным, что достаточно было двух сеансов, чтобы сделать портрет (например, Савинского). Иногда она делала портреты по памяти. Так же был выполнен и портрет Льва Толстого.

Пять почти законченных вариантов было отвергнуто, пока она не остановилась на последнем, шестом. Задуман он

был для выполнения в дереве, но деревянный экземпляр она не успела окончить.

Толстой сидит. Его тело как стихия, как скатывающаяся волна. Этому ритму противостоит упрямая голова и захваченный мыслью, остановившийся взгляд. Немного увядшие руки. Эти три противоречивые ритма, три начала, сливаясь в единое целое, дополняя друг друга, обогащают образ. «Широк, как море, а глаза, как у затравленного волка», определила образ Толстого художница еще тогда, после упомянутой встречи с ним. Почти так он и решен в портрете.

В Иркутском музее восемь работ А. С. Голубкиной. Эти скульптуры относятся к разным этапам ее творческого пути и довольно полно представляют автора.

Поэтическое творчество Александра Ивановича Балина (1890 — 1937) — значительная и своеобразная страница истории советской литературы в Сибири 20—30-х годов. Поэт-гражданин, мастер философской лирики — таким предстает он читателю со страниц прижизненного сборника «Берег» (Иркутск, 1934) и посмертного издания «Возвращение» (Иркутск, 1966).

А. И. Балин был художником большой общей и поэтической культуры, смело вводившим в свое творчество мотивы мировой поэзии от античной лирики и Гафиза до Гейне, Уитмена и Маяковского.

В последние годы жизни поэт работал над циклом философских баллад, содержащих раздумья над проблемами современности, над судьбами человечества. Некоторые из них («Баллада о королях» и др.) были опубликованы в 1934 году на страницах журнала «Будущая Сибирь».

Большой интерес представляет сохранившаяся в бумагах поэта «Баллада о солнце». Талант Александра Балина — поэта-лирика, поэта-романтика — раскрывается здесь с огромной силой. Взволнованный, страстный лирический монолог, патетическая интонация, гиперболические образы, идущие от развитых на новой основе традиций революционно-романтической поэзии Уолта Уитмена и раннего Владимира Маяковского, — все это подчинено главной идейной задаче поэта — утверждению благородного стремления к правде и счастью для всего трудящегося человечества — и гневному отрицанию безумного, античеловеческого по самой своей сущности мира «пактов, концессий и акций». Бесстрастное солнце, равно взирающее на обе непримиримые, борющиеся силы — бедных и богатых, призывается в союзники народу.

Своим гражданственным пафосом, гневным протестом против империалистических войн, своей верой в светлое будущее это произведение перекликается со стихотворениями А. И. Балина, созданными им в 1934 — 1937 годах («О звездах», «Камни поют», «Мятеж в Испании» и др.).

Р. СМИРНОВ,
кандидат филологических наук.

Текст «Баллады о солнце» представлен для публикации вдовой А. И. Балина — Б. М. Школьник.

Александр БАЛИН

БАЛЛАДА О СОЛНЦЕ

(Из цикла «Речи немого»)

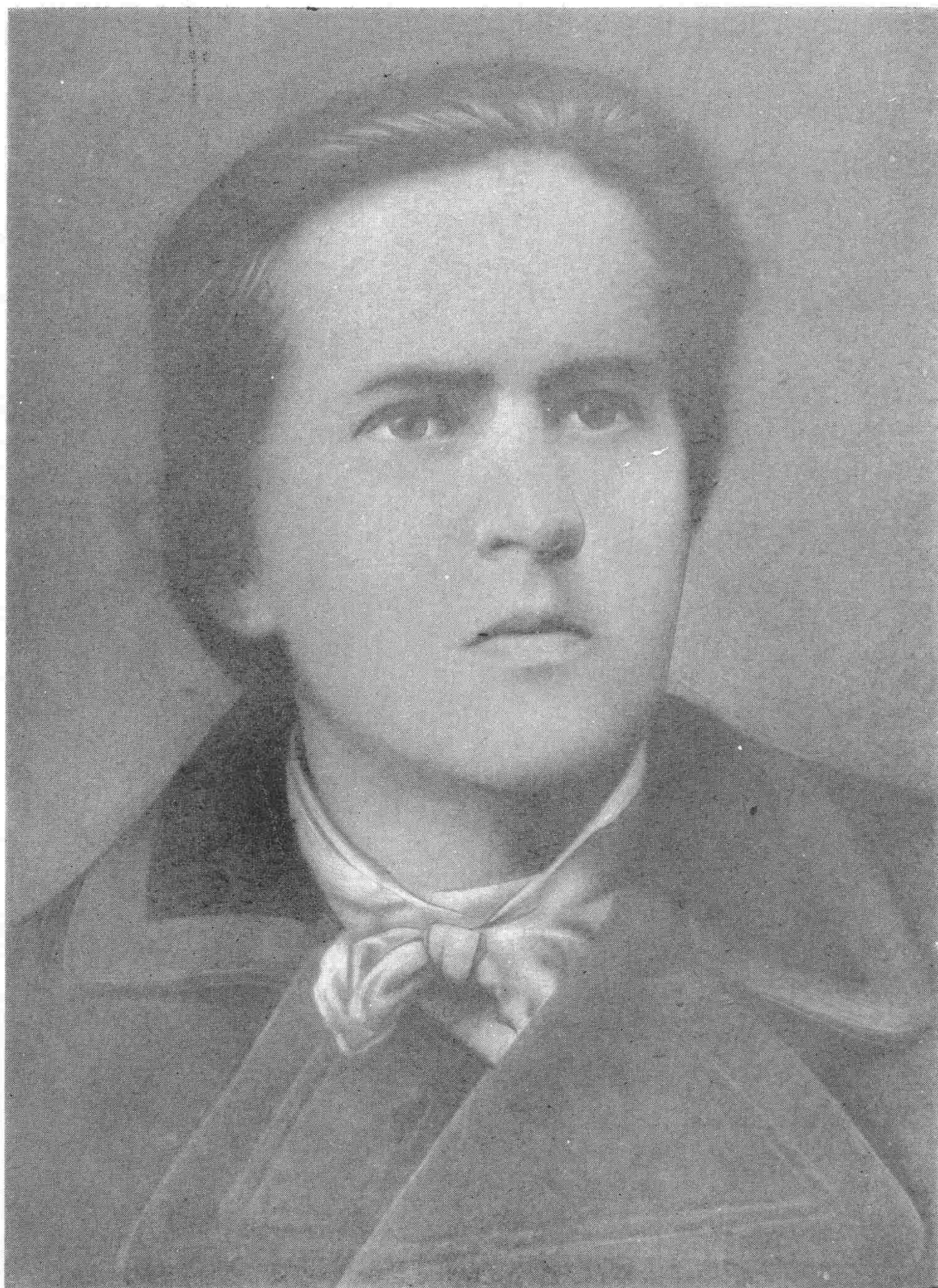
Солнце осклабилось
на людские безобразия.

Вл. Маяковский

Хотя под солнцем все не ново,
Новинка в сердце есть одна:
Речь вдохновенную немого
Вам приведу я слово в слово.
Она загадками полна,
Судите сами, вот она:

— Солнце, послушай!
Этот голос к тебе из городского ада...
Хорошо тебе, солнце, бить золотые баклуши —
Там, у чертогов небесных
Планетного сада...
Там, где нет небоскребов угрюмых, ни башен, ни
Эйфеля башни...

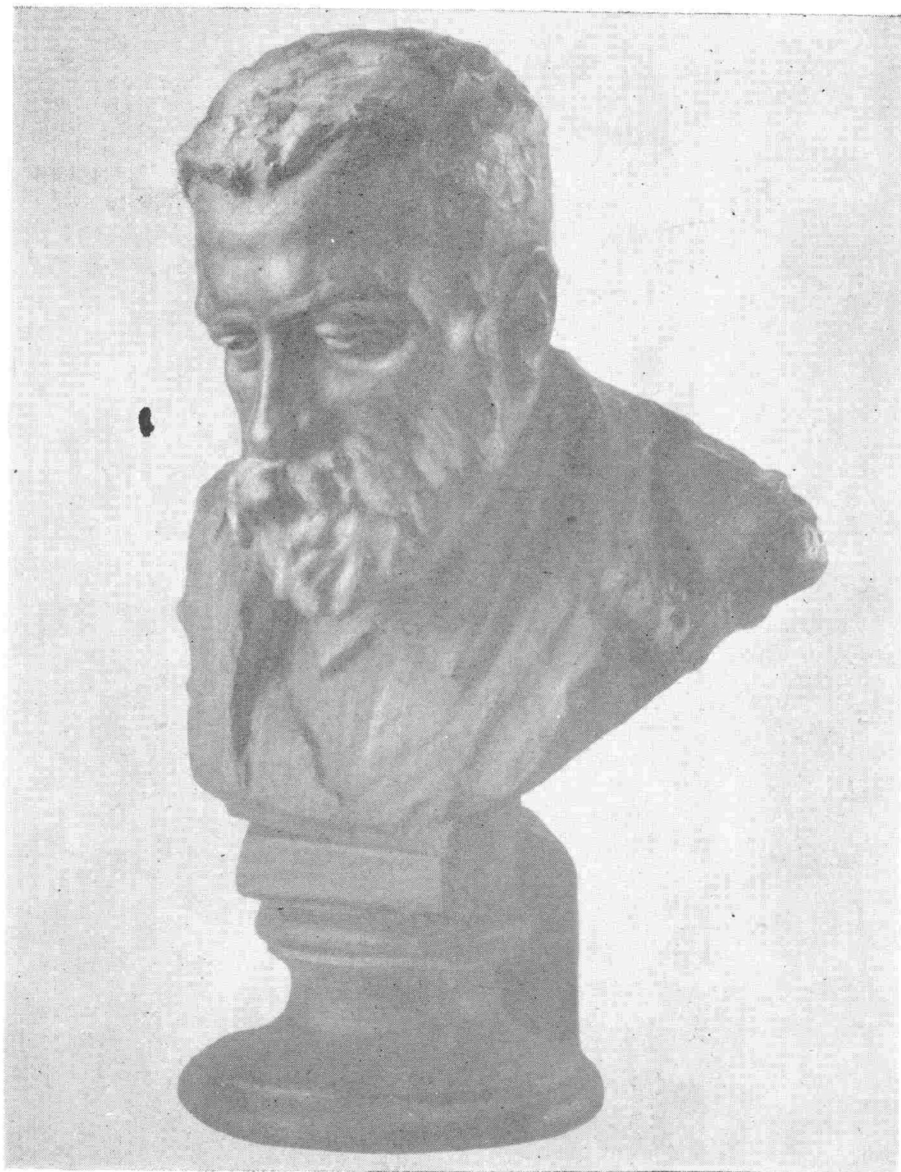
Нет — и не надо!
Солнце, ты радо,
А нам каково—
В грохоте улиц людных,
В домах наших нищих и скудных?
Да, каково нам?
Солнце, давно ты прислушалось к стонам —
Ужель и тебе надоело?
Но ты не померкло, не побледнело
От стыда и от гнева —
Только осклабилось пуще...
Солнце, послушай!
Этот голос к тебе из городского ада
Лондона, Рима, Нью-Йорка, Парижа —
Не все ли равно тебе, солнцу?
Что за беда, что звучит он невнятно
И точен не очень...
Про тебя говорят: и на солнце есть пятна,
Про тебя эту сплетню пустили
Или —
И впрямь — это краска стыда,
И лгут астрономы?..
Впрочем, что тебе, солнцу?
Смотришь сверху Верхарном —
Что может быть краше!
Что тебе, солнцу?
Светишь и нашим и вашим...
Да и к чему исключенья?
Вот города и селенья,



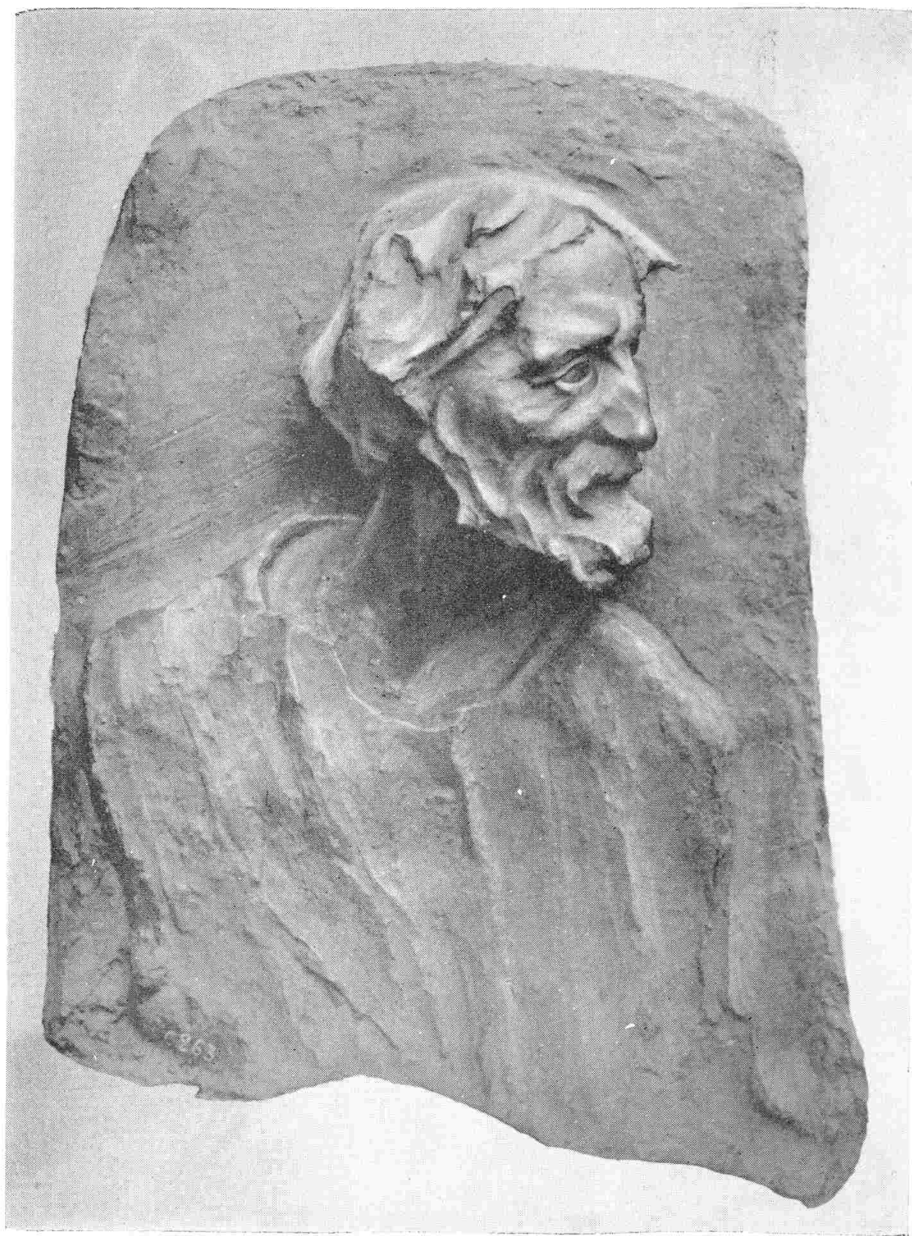
Скульптор А. С. Голубкина. 1906 г.



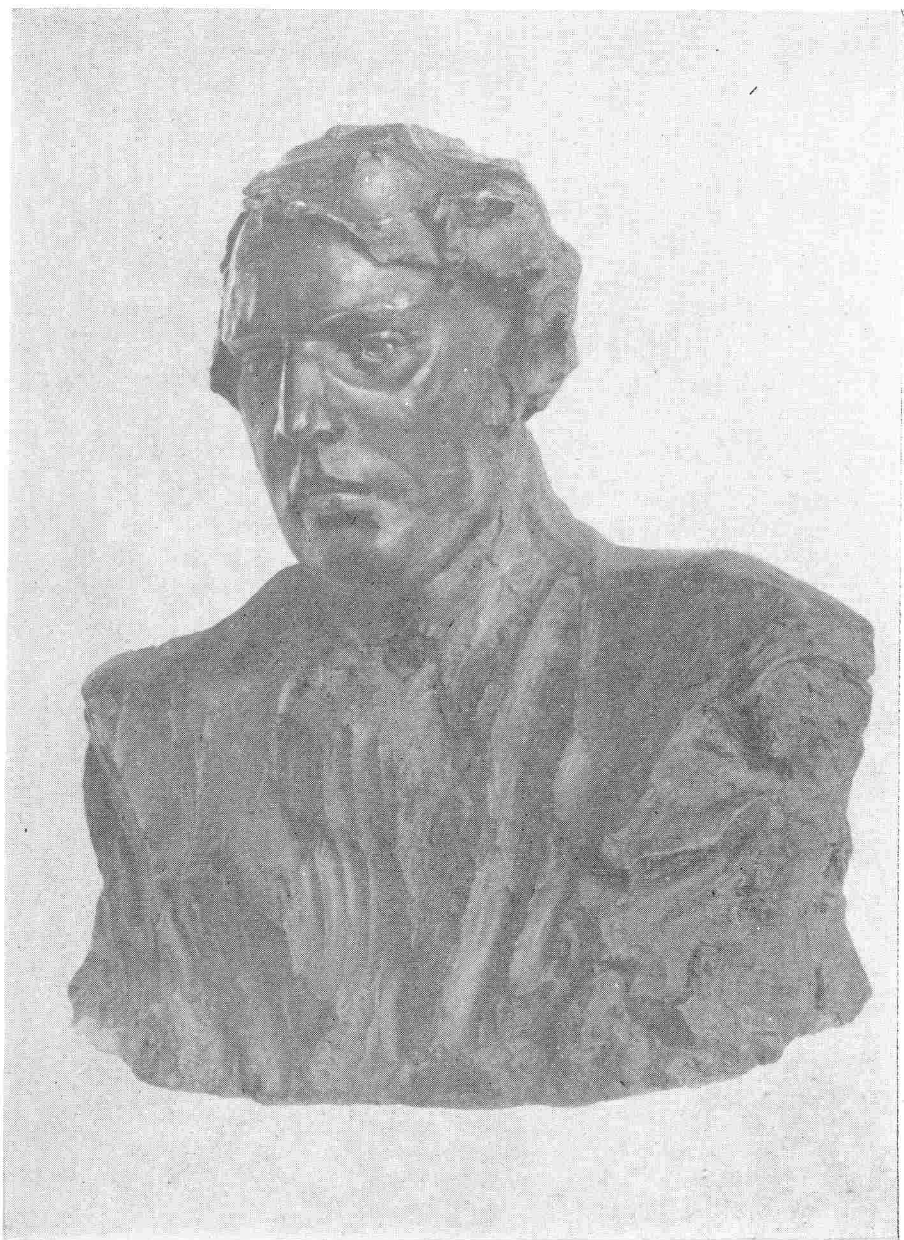
А. В. Назаревский. Бронза. 1911 г.



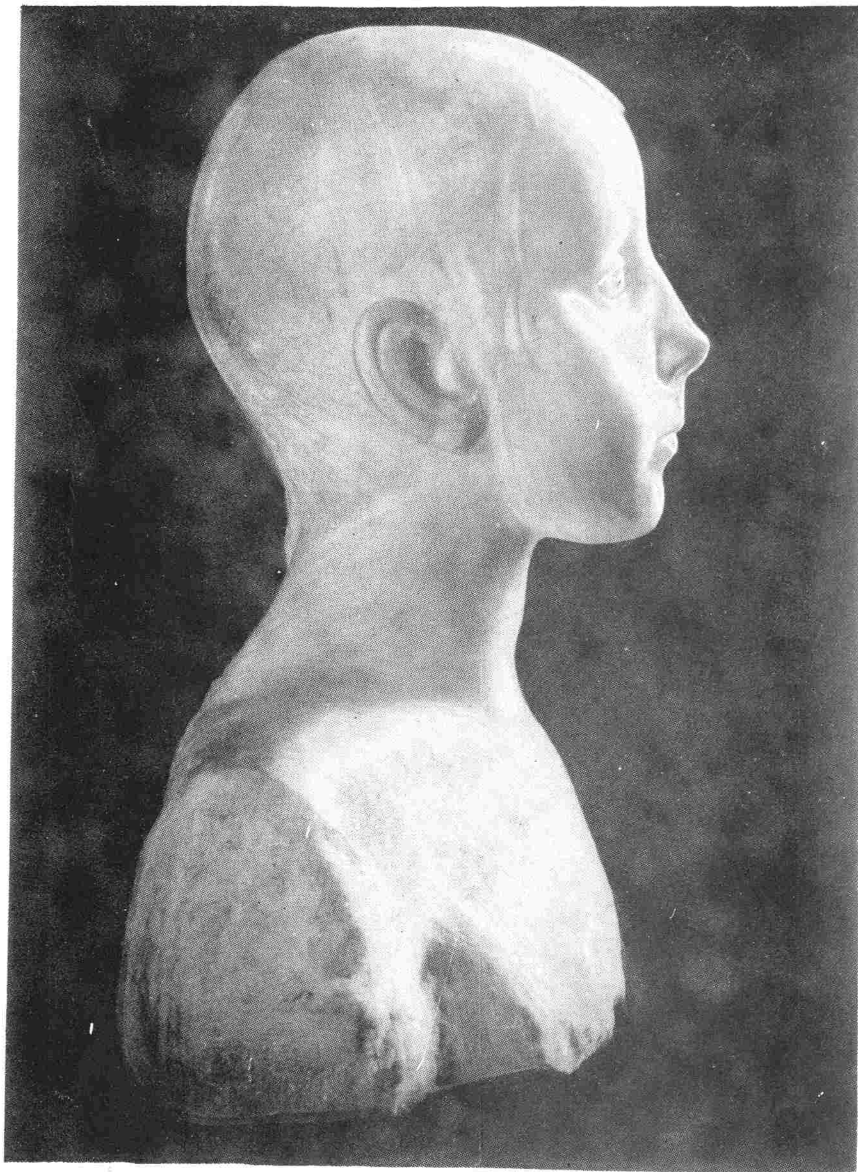
Учитель П. С. Проселков. Бронза. 1894 г.



Апостол Павел. Бронза. 1911 г.



А. Н. Толстой. Тонированный гипс. 1911 г.



Рыцарь. Мрамор. 1923 г.

Марья. Бронза. 1903 г.





Рабочий. Бронза, 1900 г.

Вот и древние пашни,
Тучное лоно природы,
Где еще предки посеяли ложь
И щедры кровавые всходы, —
Стал мир на себя не похож...
Кажется, было давно:
Помнишь ли? — сгинул «Титаник»,
Так же на вражеский стан —
Кризисов, стачек и паник —
Светит бесстрашный Титан...
Солнце, скажи мне одно:
Много ли видело там,
Средь запыленных акаций,
Средь нарумяненных дам,
Пактов, концессий и акций?
Много пространных речей
В лиге народов и наций
Слушало — может случиться...
Дряхлого мира мужей
Речи остыли уже —
Солнце, тебе ль горячиться?
Может, Литвинова речь
Честной своей прямотой,
Стойкого ленинца силой
К жизни тебя пробудила?
Надобно правду стеречь, —
Солнце, за правду постой!
Зорко следи и во сне:
Речи вояк неспроста.
Длительный мир на устах —
К скорой готовься войне!..
Кваканье мирных речей...
Солнце, брат мой немой,
Тебе ль горячиться?
Ты и само горячей,
Чем тогда, пред войной мировой —
Пан-европейский вулкан
Бросило в жар от речей...
Светишь на вражеский стан,
Солнце, ты и само горячей
Горячего слова поэта!
Только может случиться —
Ведь и звезды не вечны —
Ослепнешь от ясного света,
Остынешь, и — финиш —
Венец всех историй...
Высокая звездная старость и смерть,
Как у смертных амеб, инфузорий.
Не суета ли сует —
Кстати, круговращенье земли?
Если Англия спросит — ответь:
Надолго ли хватит
Протуберанцев твоих, —
На миллион или тысячу лет?
Ответь, коль Америка спросит:

Скоро ль в круженье
Юрких планеток — планет
Слепо в пространстве лететь
К мировой катастрофе?..
Впрочем, об этом — потом,
А пока,
С неба воюющих стран
На мирные всходы
Ты, бесстрастное, ясное солнце,
Светишь,
И спасибо на том,
Что само — никого не калечишь...
Только жаль, что дымящихся ран
(До вновь уготованных нам),
Ран не залечишь...
Солнце, ты видишь ли толпы
Голодных людей —
На закате Европы,
И горячие пасти печей,
Пожирающих хлеб у голодных?
Там не рабы, не холопы —
Камни к тебе вопиют,
Дрогнет мира незримая ось:
Видно, воду не вычерпать ситом,
Видно, так уж давно повелось:
Не накормит голодного сытый,
Только сытых и холили, нежили.
Только мы на земле как бы не жили...
Солнце, брат мой немой,
Это сомненье
Как разрешить одному?
Ныне твой луч золотой
К сердцу приму,
Только скажи мне,
Вожатый заблудших планет,
Ты за нас или нет?
Дай нам шифра небесного ключ,
Чтоб раскрылась
Мира немая загадка,
И тайна явилась воочью...
Кинь спасительный луч
Людям на землю украдкой,
Только зорко следи: как бы ночью,
За звездной игрою
Тайну не скрыла сегодня
Луна, бледнолицая сводня...
Не виденье романтиков славных,
Не луна тех времен стародавних,
Что водила лунатиков бледных
Вдоль по кровле, по выступам тленным...
Не луна тех влюбленных поэтов,
Чей волнующий путь лунным светом
Пронизан
В опадающей роще...
Нет, та луна
И милее и проще.

Ныне:
Луна в палантине,
У ней вызывающий взор,
Луна — городская чета,
Или жена миллиардера —
Луна в Аргентине...
Солнце, в лунный дозор
Призови мою музу.
Будет зорко следить до утра
Муза, красному солнцу сестра,
И призванию честно послужит,
Чтоб песней досуг свой наполнить
До утра и до ясного полдня!

Лейся, звездная песня поэта,
Об извечном источнике света.
О тебе, прародителе мира,
Пусть ученый серьезный доскажет...
Только правды не выскажешь лирой,
Ни Орфеевой музыкой даже...

1934—1937

О. КОРНИЛЬЦЕВ

ПОГОЖИЙ ВЕЧЕР

Рассказ

1

Днем Василий несколько раз принимался спать — ночью было на земснаряд, на вахту.

Торкался в каюту Генка Парахин, спрашивал через дверь:

— Вась, ты у себя!

Василий не отзывался, молчал неприязненно.

И ужинать он не вышел.

На брандвахте, плавучем общежитии для команды земснаряда, хлопали фанерные двери — собирался народ в столовую, а он лежал на койке, на суровом одеяле и думал, как завтра отстоит вахту и на целый день уйдет в лес...

Дремать на телогрейке возле костра, лицом слышать его тепло и просыпаться от свежести, когда прогорит... Комариная пора отошла, и мошки нынче нет, лист уже тронулся, а папоротник порыжел и заскорб и шумит, когда идешь по нему... Вспоминать всякое, что будет мнится... Учуять: затлела телогрейка, и лениво замять ее...

А вечером от головешек через поляну в деревья, в стволы полетит синий дым, и так захолодает, что перехватит глотку и станет больно глотать...

Каждую осень он лечится лесом. Вернется на брандвахту, и снова можно до конца навигации в это колесо: неделю с утра, неделю в ночь, неделю с четырех...

В каюте у него давно затемнело: окошко было на берег, в яр, а занавеску он еще утром задернул, когда вернулся с работы. И на брандвахте все угомонилось. Только в дальнем конце, должно быть, у Генки Парахина, глухо били в гитару и вдруг затопали, запели не по-русски, но осеклись — ночная вахта спит.

Как бы Генка завтра не увязался. Как в прошлый раз. Орал песни и загадками изводил из «Техники молодежи». Под конец, верно, потешил: хорошо в лесу, только скучно!..

Пойти поужинать, пока Людка на кухне. Ночь натощак — вахта длинной покажется...

2

— Люда, грудью заслоняю амбразуру,—сказал он у окна раздачи в столовой. Не любил он этой шутки и невольно сказал, оттого, что тягостно и неладно было ему, и не хотелось, чтобы она заметила это.

А она и не посмотрела, не укорила, что опоздал. Положила недочищенную кар-

тошку и нож и притомленно встала с поваленной на бок табуретки. Вынула из духовки его гречку, чай, выставила ему, а сама думала что-то укромное...

Это ее четыре лета назад норовил он увезти на острова, и, было, плавали.

Казалось тогда: сколько всего еще будет! Закроется навигация — он уйдет на завод, или на большую стройку уедет, а ребята писали и звали назад в экспедицию... И впереди было целое лето на реке. Он еще все не мог привыкнуть, как просторна она, как вольно на ней глазам...

В толстой зимней тельняшке, с закатанными по локоть рукавами, Василий сидел в темнеющей столовой, ел, не ведая что, и видел ту весну, когда он ушел из экспедиции и поступил на земснаряд.

Это после были тальники и сырой песок со следами ночного дождя, и Людка то и дело отстает и скидывает босоножку:

— Ну, провалиться! Опять камень... Да постой!..

А в первые дни сменялся с вахты, мылся наскоро в душе и по дамбе, обложенной зеленым камнем, уходил в город.

Шли по дамбе компании: парни с гитарами и транзисторами, девушки в спортивных трико, крепко подтянутых в шагу, — компании, равнодушные ко всему, кроме себя и своих песен, и Василий был полон своим, а строения научного городка на холме казались белокаменными в солнце...

Мчались по автостраде сверкающие автобусы, круто осаживали возле остановки. Стены павильончика для ожидания были набраны из толстого цветного стекла, и всего штуки три выбито...

Ездил по городу в каких попало троллейбусах и трамваях, сходил, где приглянется, смотрел и уже любил и гордился: всем городам город, на всю Сибирь, и зиму он поживет в нем, если надумает...

Какой же он был тогда! Как-то вернулся ночью и постеснялся кричать на брандвахту, чтобы пригнали лодку, перевезли. Походил у берега, посмотрел на стоячие сиреневые облака, на тихую воду... Вспомнил, что видел в кустах догорающий, оставленный кем-то костер, собрался передремать у него, и вдруг загремела цепь о лодочное днище, глянул — из-за брандвахты на светлую воду выплывает лодка. Это Люда разглядела его...

Не доплыла и спрашивает: «Кто!.. Новенький!» — боится, а лодка уж в берег ткнулась...

С того раза он и заприметил ее.

Все давным-давно минуло. Тем же летом, еще коренная вода не сошла. И редко вспоминал Василий. А последнее время он точно с молодостью прощается, со всем, что в ней было...

Вон она в кухне, сидит у дверей, распахнутых в рассеянный свет и холод осеннего вечера, чистит картошку, спешит управиться дотемна...

За эти годы чуть не вся команда на два раза сменилась, а они четвертую навигацию плавают и две последние ровно дружны. И что бы ни было, она причастна к тому беспечному лету, и еще были три навигации, и они с полуслова понимают, когда начнут вспоминать. А это в любом человеке дорого...

Вчера электрик Волошин нарезался у бакенщиков, хотел еще добавить и сказал ей, чтоб дала на бутылку. Последнее время она встречалась с ним, но была не из таких, которые выпивкой приваживают, и они разругались.

— Ты знаешь кто! — сказал под конец Волошин. И сказал.

— А я и не отказываюсь! — выкрикнула она.

И Василий, лежавший у себя и поневоле слушавший через тонкие стены ушел на другой конец брандвахты, к Генке Парахину. Пусть без понятых разбираются...

Утром Волошин отозвал его в сторону. Он мучался похмельем.

— Откуда у меня пятаки? — хмуро сказал Василий. — Три дня до получки.

— Ну у Людки возьми... — не отставал тот.

— Вон Генка на побегушках! — обозлился Василий.

Волошин уговаривал, а Василий незаметно сторонился его дыхания и уже точно знал, что, когда придут зимовать в затон, не этот чернявый парень, а опять он, Василий, станет помогать Людке перебираться с брандвахты в ее комнату в затонском доме. А весной, когда разольется река и начнет топить нижние этажи, Людки, как водится, не будет, — повезет свою девчонку в Барабинск на лето к матери. Прибежит за ним в общежитие, когда уже станут всплывать прикованные на цепи тротуары. Он позовет Ивана Авдеева, моториста с их же земснаряда, раздобудут лодку, болотные сапоги, поплывут. Просунут доску с подоконника на стол, залезут и подымут шифоньер на спинки кровати, а остальное сложат на столе...

Он близко видел побледневшее лицо Волошина, жалел его: видный парень и электрик толковый, а зимогор! В паспорте штампы двадцати городов — больше места не хватило... И за Людку было обидно.

И чтобы как-то кончить, он пошел к ней.

— Люда, дай трояк, пиво в деревню привезли, — сказал он, махнув на дверь, — пускай знает, для кого, и как хочет.

Она поняла, ответила скучно:

— Нет у меня, Вася.

Волошин слышал все и смирился...

Она чистила картошку, низко наклонившись, чтобы лучше видеть, и сверху поварской куртки был у нее накинут на плечи матросский бушлат.

Василию захотелось сказать ей приветливое...

— Спасибо, Люда, — сказал он, ставя на окно тарелку и стакан, чтоб не идти ей за ними в столовую, не обходить коридором...

3

Он снова лег, не раздеваясь, не разбирая постели. Когда укрылся телогрейкой, брякнули в ней спички, и он с отрадой подумал о завтрашнем лесе, как станет разводить костер...

Нет! Не оттого худо ему, что пятый месяц, с начала навигации трубит он без выходных и суббот. Не первое лето — втянулся..

Вот именно, он точно с молодостью прощается, с тем что было в ней...

И началось это совсем недавно.

В тот вечер не успел он вахты принять, крикнули его на палубу. Срастить концы без Василия во всей смене никто не мог.

Трос был сухой и ржавый. Василий отвивал от него прядь, она с приятным хрустом выходила из своего места, и в открывшееся ложо он укладывал прядь второго троса. Она ложилась, как там и была, жила к жиле, и сплетень шел ровный, не сразу найдешь, где срощено... Когда он стал продергивать пряди меж прядями, и, сидя на палубе, упираясь ногами в трос, во всю силу рвал их на себя, пряди не выскальзывали из рук, потому что ладони были во ржавчине, как наканифоленные.

— Рядом лопнет, а тут — мертво, — сказал Генка Парахин.

Шел Генке семнадцатый год, и каждое лето он плавал с отцом-механиком. А с брандвахты на земснаряд он приехал, чтобы помыться в душе. Днем видать времени не выбрал.

Генка уважительно щупал сросток, а Василий утерся подкладкой берета и пошел остывать на корму, на ветер.

Над лебедкой матово светился плафон. Куча мошкары, насохшей за лето, чернела на дне его... Ветреная, сырая тьма была за бортом. В той стороне, где брандвахта, и там, где село, ни огня не было. Только на острове неровно горел костер. Он представил, как шумят тальники, как неприютно в них... Он-то знал, каково гнуться там, когда порывы точно в горне, добела раздувают уголь и, того гляди, весь костер размечут...

«Небось, браконьер» — подумал он.

Ему захотелось в машинное отделение, и пора было посмотреть двигатель — уж давно прислушивался к его реву.

Но сначала он слез в лодку. Она билась и гуляла на цепи за кормой. Раза два в навигацию лодка переворачивалась, и весла уплывали. И сегодня кто-то бросил их в уключинах. Он выпихнул весла на палубу и уложил их так, чтобы они всей длиной легли на нее. А то бросят концом на что-нибудь, после наступят невзначай и переломят. Он еще цепь отпустил подлиннее: притягивают лодку, словно злую собаку, а она должна прыгать на волнах на длинной цепи. Тогда не станет ее рвать и дергать...

Потом он сбежал, спрыгнул в свет и рев, в тепло машинного отделения — только стальной трап звякнул под ногами. Щупал горячий, пронизанный дрожью бок двигателя, вникал в теплоту его, а наверху, в рубке, пустили черпаки, стали они врезаться в грунт, и дизель мягко, без надсады принял нагрузку. Завод, на котором его построили, назывался «Двигатель революции». Три года назад, когда выкидывали старый дизель и устанавливали этот, Василий старался, чтобы дизель пошел хорошо, и все эти годы он молотил без отказа, — зимой только клапана притирали, и чехам с их «Шкодами» еще далеко до таких двигунов...

Вот в ту ночь, стерев чистой обтиркой с маслянисто лоснившегося тела дизеля ржавые следы от ладоней, прохаживаясь в свете и чистоте машинного отделения и слушая, как приседает, ходит корпус земснаряда, оттого что режут крепкий грунт, он понял вдруг, — просто и бесповоротно вошло в него: никуда он не уйдет отсюда и не хочется ему. Весь мир с земснаряда кажется устроенным и ясным. А все привычные мысли, которыми он тешил себя еще с первой весны на земснаряде, что вот подаст заявление, уволится и уедет куда-нибудь, и где-то там, далеко, в Казах-

стане, на Дальнем Востоке начнется самое значительное и интересное в его жизни — все эти приятные мысли — блажь, неправда.

В ту ночь, когда все определилось, стало ясным для него, он был спокойно счастлив.

А смута в душе поднялась на следующий день...

На реке, должно быть, прошла самоходка, и стало слышно, как накатывается, идет по берегу вал. Брандвахту подняло, ударило о берег, и хруст пошел по ее надстройке.

Волны долго бухали в яр, а в коридоре быстро говорила Люда, и кто-то не спеша отвечал ей.

«Никак опять Волошин!.. Нет... Иван Авдеев, моторист».

Когда улеглось, стало слышно, как Люда сказала:

— ...В новых домах... Ей целый отсек дали. Кухня с комнатой!

— А корову она держит? — громко и основательно справился Иван.

— Ему говорят, а он смеется! — горячо отозвалась она. — Да, Ива-ан, какую еще надо! Еще кура-ажится. Сам-то — седой! Мать у нее, — так старуха смирная. Хлопочет все, копошится...

— ...Говоришь, зовут-то! Нинка!

«Нинка! С двадцать третьего землесоса повариха... — сообразил Василий. — Может, и сойдутся...».

Гулянку устроят — за ним первым придут. Это навсегда теперь: земснаряд, Иван Авдеев... Судьба, доля!.. Как в газете «Водный транспорт» пишут: «призвание»... И не хуже чем у других.

А пока что он припомнит, как по партам сидели в десятом классе. Последний год пересаживались часто... Кто с кем хотел...

Потом армия. Два года гонял компрессор на закрытой стройке под Барнаулом, и даже в командировку не посчастливилось съездить...

Но чаще всего в эти дни представлялась Василию экспедиция, оттого что был это самый вольный и сильный труд, какой он знал в своей жизни.

Видит: упруго дрожат на ветру лыжи, понатыканные в снежный бугор, чтобы не замело и не искать их утром...

Вот лезет в палатку дежурный, тащит с костра закопченное ведро. Ребята только проснулись, из мешков выбираются. Один уже черпает кружкой зернистый снег из-под нар, а ближе к железной печке распустился багульник, и живут, бегают во мху оттаявшие паучки и козявки. Сейчас встанут ребята на лыжи, закинут за плечи гравиметры и пойдут от палаток, крепко выспавшиеся, заорут, загогочут на все болото, а небо уже озаряется, красит нутро глубокой, по колено, лыжни, сыплются в нее семена потревоженных трав, и Василий будет идти, орать вместе со всеми и срывать на ходу мерзлые ягоды шиповника...

А летом, вымокший до нитки, идет он словно в воде мокрой тайгой, ломает тропу в огромных сырых травах, сотрет ляжки липнущими, жесткими штанами, и когда совсем невмоготу, под смех ребят начнет бинтоваться поверх штанин, чтобы не

ерзали, не растирали пуще. Завтра снова дождь, и другой будет ломать тропу, потрется еще сильнее, и тогда Василий станет помогать забинтовывать, где товарищу несподручно.

Утром просыпаются они в палатке от рева комаров, вспоминают зиму: «Зимой легче!». А зимой придут ночью, скинут лыжи, и сразу закачает их на легких ногах. Вшестером будут толкаться возле ревущей огнем печки, сушить телогрейки, портянки, — все так пропотело, что уж не потом, а ровно мочой шибает, и завспоминают лето: «Тесниться в палатке надоело!».

На переходах научился он вспоминать всякое, как старик. И отца представлять: какой он был. По себе понимать его. Раз вышли из тайги к Васюгану, на высокий яр, — за Васюганом было сине и сине, лес за лесом, и ему вдруг хорошо и грустно сделалось, и он впервые подумал, что и отец бы так смотрел...

Потом, когда поступил на земснаряд, зачастили по радио и в газетах названия тех мест: Сургут, Васюганье... Сначала щемило что-то у Василия, обидно было, что без него. Теперь привык. Только лед тронется, наливнуха за наливнухой с нефтью. Точно испокон...

— Данилыч... — негромко позвал из коридора Иван Авдеев и подергал дверь. — А, Данилыч... Открой-ка...

— Ну, что! — нетерпеливо поднял Василий голову.

— Чего говоришь! — не разобрал Иван, пождал и опять потолкался. — Открой-ка...

Не умел Иван разговаривать через двери и фанерные переборки, и Василий уважал это. Ему неловко стало, он вскочил и откинул крючок.

— Давай влазь, — позвал он. — Я думал, Генка. А я давлю. Четвертую серию досматриваю.

— Что ты говоришь-то! — снова не понял Иван.

— Спал, говорю! — гаркнул Василий, а сам улыбался в темноте.

— А... — сказал Иван.

С семнадцати лет был он при дизелях. Сначала в колхозе на тракторе, теперь — на земснаряде, и в армии бульдозеристом, землю ворочал, но пока что на слух не жаловался. А переспрашивал от того, что недолюбливал скорую речь.

Он вошел и молчал, едва различимый у двери. Василий сидел на койке, добро-добро улыбался ему и просто телесно чувствовал, как он стоит там: тяжелый, теплый и дышит. Ходит всегда в неглаженной, но чисто постиранной робе, а казенные башмаки зашнурованы ремешками...

— Данилыч, я говорю, нашего шкипера слушать — он только доктором не был, — намолчавшись, сказал Иван. — А движок за три вечера ухряпал, и фонаря ладом не засветит: чадят, как ЧТЗ.

— Молодец дед, — засмеялся Василий, — тихо стало. В машине, — мотнул он на скрип земснаряда на реке, — восемь часов по голове молотит-молотит, да здесь еще этот мозготряс заведут!.. А теперь тихо. Я свечей купил. Надо!

— А куда мне свечи! У меня покойника нет, — прикинулся Иван. — Зачем, говорю свечи! А аккумулятор на что!..

— Слушай, Данилыч, — сказал он, чуток выждав, — если ночь за тебя отстою, ты меня завтра выручишь?

Не завтрашнего леса пожалел Василий — ночи испугался. Выспался, а теперь сидеть, глаза пучить? И без того себе не рад.

А на земснаряде яркий свет, молотит дизель и теплый ветер от маховика, от генераторов. Станет Василий изредка подыматься на палубу по трапу, такому крутому, что надо ступать боком, чтобы колени не сбить. А навстречу дикие осенние звезды и воздух холодным водопадом... Барабан с кормового шпиленка так и валяется. Интересно попробовать сварить. Приноровиться — чугун простыми электродами варят. С медью. Медной проволокой электрод обмотать...

— Самому день нужен, — сказал он жестко.

А Иван, ровно не ему сказано, свое ладил:

— «Аист», Данилыч, на двадцать третью пойдет. Машинка там у Дюкарева. Остричься... Гляди: хоть в церкву записывайся!..

— Нинку смотреть! — спохватился Василий.

Зимой в затоне встречал он ее. Муж у Нинки, штурман с «Ястреба», в третьем годе утонул. Каждую навигацию водники тонут.

— Ну, добро, езжай, — сказал он. — Действуй.

4

Он ворочался, ворочался на койке и вышел в коридор.

Пара фонарей коптила в разных концах, освещала два ряда дверей. На кухонной висел замочек. Знали, что не замыкается он, и заходили и брали, что нужно. Особенно после получки. За кружкой заскочат, хлебца отрезать забегут, посмотрят, не осталось ли что в бочках. И луковкой загрызть охота...

Часа через три шкипер, непутевый старик, начнет колотить в двери, подымать вахту. Станут выходить заспанные, хмуро, не по-утреннему умываться, редко перебрасываться словами, примутся в раздевалке чиркать спичками: разыскивать робу... И, глядь, — разгулялись. Обнаружат, что в бачке остался квас, станут пить, кто-нибудь побежит на кухню за чайком — набрать на работу. Выйдут потом на корму, в свежую ночь, засветят папироски, засмеются, заговорят крикливыми голосами, точно вздорят — привыкли на земснаряде перекрикиваться в грохоте. И уже плавно движутся в ночи красный, белый и два зеленых огня — идет за ними от земснаряда «Аист».

А сейчас в красном уголке щелкали бильярдные шары, и по молчанию чувствовалось, что играет один.

Василий толкнул дверь, — здесь, на речной стороне, был закат, и в красном сумраке он не сразу признал Генку Парахина. Он целился, припав к самому полю.

— Будто меня обставляешь? — усмехнулся Василий.

— Нет, американца, — простецки сказал Генка, саданул кием и — промазал. — Темно.

— А что в деревню не пошел?

— А ты? Идем!! — разом вскинулся Генка.

Топыря руки и приседая, весь темный в закате, он стал подступать к Василию:

— Мне донесли, что в Рио-де-Ильинке, в «Рваных парусах»... ты не уплатил двад-

цать пять гульденов, — зловеще произнес он и сцапал Василия за шею. — Я прикажу тебя вздернуть на рее! Вверх ногами... Грабь, но не обманывай, — хрипел он, а Василий рассеянно, точно во сне, улыбался, отстраняя его...

5

Они быстро шли у самой воды, там где песок был сырой и плотный.

За рекой, за лесистыми островами холодно и чисто горела заря, а река стремилась по-вечернему смутная, и светляки бакенов были хорошо приметны. По левую руку тянулся яр, источенный стрижиными норами, в ясной вышине еще не проступали звезды, и тихо было на огромной сибирской реке, потому, что земснаряд не работал. Не рявкали его черпаки, далекий, он мирно стоял, обозначившись грудкой сигнальных огней, возле того темного берега...

Как всегда, при ходьбе Василию было легко и просто, а еще много предстояло идти в отрадной тишине по сырому песку и дышать осенним воздухом.

— Я мамонтов клык нашел. Где-то здесь валяется, — сказал Генка, отбегая к яру и осматриваясь.

— Знаю, вчера видел, пошли, — не остановился Василий.

— А Яшка с «Аиста» не верит: «Что они тебе так и валяются!» — передразнил Генка, догоняя его.

— Куда там... — только и сказал Василий. Не любил он этого штурмана с «Аиста»: здоровый, а в армии не служил...

— Бивень-то не бивень... — немного погодя сказал Генка вдумчиво. — У мамонтов белые и крепкие... А этот почернел, а в середине как известь крошится. Мы с Иваном разбивали... Просто клык чей-то... От буйвола... Тут еще где-то рога валяются. Точно, как на земснаряде вытаскивали. Помнишь? Я возле них кол воткнул.

— Где? — сказал Василий, а сам и ходу не убавил. Вот и Генка скоро уедет. Те года все ножички точил из ножовочных полотен и личневых напильников. За лето весь наждак сточит. Таскался за ними, взрослыми парнями, по диким речным пляжам.

И все эти годы чувствовал Василий, что Генка его изо всей команды отличает и точно ждет, что совершит он необыкновенное. Бывало, попьет Василий — и Генка следом. Кружку не споласкивает, с того же края приложится. Пьет и на Василия смотрит... И повадки перенимал.

А нынче не то. Отдаляться стал Генка. В речное училище собирается и на шоферские курсы — не поймешь... Полилась у него жизнь! В каждой деревне подружки, друзья на любом причале...

Когда-то и Василий доживал дома последние месяцы. Готовился к экзаменам, сидел с учебниками на крыше...

Чего хотелось ему? А он и не знал. Только твердо, единственный изо всего класса, отказался в военкомате от военного училища. Он еще всем побудет. И офицером. У отца семь классов было, двух лет не воевал, а погиб лейтенантом...

Нет! Все же о чем-то думалось ему! Ну, хоть там, на крыше, когда уставали глаза от ярких страниц и смотрел он на голые, березовые перелески... Вставал на коньке — крыши лисьего питомника виднелись из-за голых макушек. Эти березнячки поднялись после войны. Он в школу начинал ходить, и той же осенью запретили

порубки. А теперь грустно было: так и не дождался, когда они закроют звероферму... И не мечталось, а знал: на всей этой земле в березовых колках и озерах и дальше, за железную дорогу, что в сотне километров от их поселка, и в другую сторону, на север, куда птицы летают, — везде побудет он. Как-то обыденно, хозяйственно, что-ли, думалось. Станет работать на стройках, о которых в газетах пишут, во всех городах будет жить. И в Москве. И еще как-то выходило, что целую жизнь проведет он среди трав и зверья и будет понимать их. Да мало ли еще что... Делать лодки научится, и часто представлял себя мастером-лодочником. И на свадьбе у него друзья станут плясать на табуретках и на столах...

Лето после школы проводили в мастерских, а осенью, когда в Новосибирске погрузили их в телятники — еще в товарных вагонах призывников возили, — и весь эшелон смотрел, что подадут: электричку или паровоз: электричка — ехать на запад, «самовар» — служить на востоке, и все хотели электричку, он сидел вместе со всеми на теплом рельсе, поглядывал, что прицепят, но было ему все равно, куда повезут: начинала исполняться его жизнь...

Наверно, и у Генки примерно то же... Придет время, и он станет вспоминать свое, как сейчас Василий... А может, и нет... Да что!.. Любой ученый, любой капитан какой-нибудь... с ледокола «Ленин»... Небось на всех накатывает и жаль бывает чего-то...

Ладно, Данилыч, все будет «нормальный ход»!

Не сегодня-завтра пришлют буксировщик, он переставит земснаряд на новый перекат, потом на следующий... Все ближе к городу, к затону... Забелеют берега от снега, поплывет шуга, и дадут Василию отгулы за лето... Поедет он к матери...

Василий себя как со стороны увидел: идет по родному селу, по своей Партизанской улице рослый двадцатисемилетний мужик, и что-что, но сразу по нему видно — умеет человек работать...

Теперь они поднимались по лестнице, вырубленной в яре. Все быстрее, быстрее, бегом, и Василий обогнал Генку. Обернувшись на реку, на закат, он ждал на обрыве, а сердце надежно токало, и от холодного воздуха приятно и больно саднило в груди.

— А ты здорово зашелся. Куришь! — сказал он, довольный, что Генка задохнулся, а он — нет.

— Я не в форме... А зимой... в хоккей... сначала сколет, а потом хоть бы что... — еле выговорил Генка.

Запахло огородами, пылью. Они входили в улицу. Свет из окон падал в крапиву и георгины, на загородки палисадников. Хрипловато играло радио, и от дома к дому замирала и возникала старинная песня.

Только пошли по селу, Генка закурил, стал плеваться и забегать то с одного, то с другого бока от Василия. Василий поглядел на него, — смахивал Генка сейчас на одного парня — топографа.

Послали того с отрядом посадочные площадки для вертолета рубить — они вырубили не там, где наколы на фотосхемах, а после и вовсе потерялись. Дня через три заметили их с вертолета, сбросили бутылку с запиской:

«Если вышли продукты — дайте ракету. Если не кончили работу — лягте. Если заблудились — разбегитесь».

Те, внизу, дали ракету и легли... А потом разбежались...

А в другом отряде, у топографа Максимыча, рубил все лето посадочные площадки Василий.

Топоры на огромных порубочных топорищах... Всекаются в пихту словно в репу. Даже в лицо брызнет... В сентябре вышли к Томи. Простор над рекой был чист по-осеннему, а вода светла, но была теплая... Разобрали на плоты венцы заброшенного сруба и плыли всю ночь в туманах... Просыпались, когда их о боны тукало... И эта ночь навсегда в нем, Василии, во всех четверых, кто плыл на плоту. И другая ночь, зимой, когда на ракеты выходили к палаткам. Сдуру сунулись в сорок градусов и поморозились до волдырей. Потом узнали: остальные отряды не рыпались—сидели в палатках да подшуровывали железянки. А они все утро самое злое время шли открытым болотом, замотав лица шарфами и полотенцами, потому что тянул ветер. Потом начался лес, и Василий стал тайно соперничать с Колькой Тамбаевым: кто скорей и точнее пробьет лыжню, свои очередные два километра. Тамбай брал направление и шел ровным шагом, не сверяясь с компасом. Наступала очередь Василия — он то и дело уклонялся, останавливался, чтобы вытащить компас, пока не понял, что Тамбай замечает, под каким углом надо резать тени деревьев, протянувшиеся на снегу. И он пошел не хуже Кольки.

Вечером снова, как на берег моря, вышли к болоту. Стояли, отдыхая глазами после темноты леса. Из болот начинался Чузик, речка. Ее четко обозначили сосняки в закате, а с востока двигалась ночная мгла, морок... Они сломили камышинку и напились из ледянок, прокопыченных лосями. Лоси только ушли, их помет еще дымился.

А потом Василий стал засыпать. Ребята заметили, и Венка Логинов сошел с лыжни, пропустил его и пошел сзади. Снег на болоте был крепкий. В иных местах таежные лыжи не оставляли колеи, и когда, засыпая на ходу, он сворачивал в сторону, Венка окликал его. Он дал ему хлеба, измятую за пазухой горбушку.

А ночью он разошелся и вел на ракеты к палаткам. Ракеты кидали через полчаса, они поднимались далеким светом, он замечал звезду и шел на нее, а она горела то рубиновым, то изумрудным. На закате, когда они, горячие выскочили из тайги, ветер казался ласковым и теперь он сушил их. Телогрейка застыла панцирем и скрипела. Он не мог снять рукавиц, чтобы достать компас. Они обмерзли на запястьях и щелкали, точно клешни. Шел, дышал через полотенце и глядел на звезду, а она играла рубиновым и изумрудным... Шел и думал: можно ли ознобить глаза! Зажмуривался на несколько шагов и, казалось, что под веками льдинки...

Стал ложиться Юрка Медок. Василий слышал, как Максимыч уговаривал его, что если он советский человек, то встанет и пойдет.

— Да лупи его, Максимыч! — крикнул Тамбай и Медка подняли и гнали палками, но все это было сзади, за спиной, а Василий шел на звезду, гремел по насту, и спотыкался, когда лыжа попадала в заструг, а в чапыжнике точно плыл, загрузая выше колен, — торил лыжню, слышал ребят за собой и любил всех, и Медка, когда он поднялся и пошел — тоже.

А потом увидел большой, раскачивающийся свет фонаря, поднятого на жердине, и рыжее, быстрое, как из паяльной лампы, пламя из трубы над обеими палатками, и ребят, укрепляющих жердь на ветру. Он побежал, ломясь через чапыжник, кричал, захлебываясь:

— Не надо.. Не тратьте ракету! Мы все идем...

И только одно знает Василий, что молодость уходит и нельзя терять друзей, какие в ней были. И это не письма, не встречи, а то, что он ясней-ясного видел их сейчас, слышал...

Все, что было, навсегда в нем. И все ребята, какие были тогда. И он, Василий,— в них. Стариками станут, а он пригрезится им, такой, каким они знали его. И они ему тоже.

И очень важным, значительным показалось Василию это. Может, и у отца до сих пор жив какой-нибудь друг закадычный, и помнит...

А потом отойдет, канет все. Точно не горели, не мерцали Василию ракеты... но это когда еще...

А нынче он поступит на судомеханический. В приемной комиссии Сашка Кулаков. Станет Василий писать контрольные, как все вечерники у них в общежитии, и кончит...

— Вот они!.. У клуба, — остановился Генка, покашлял и полез за сигаретами. — Смотри не говори, что земснаряд в город уводят. Я Полинке сказал: месяц простоим... Слышь! Ее голос!.. Или нет?

6

Клубные окна темно отливали зарею. Возле крыльца подростки заводили мотоцикл. Генка втерся к ним и перекрикивал всех: советовал. Мальчишки висли на погнутом турничке, влезали на него по дощечке, припертой к столбу. Парень в болотных сапогах гонялся за девчонками. И не разглядеть было лиц...

Василий постоял-постоял в стороне и не спеша подался от этой колготни.

Четко обозначились на небе крыши, их козырьки над стенами, неровная городьба заборов. Табун гусей устроился на ночь среди улицы. Один выпростал голову, посмотрел на Василия и потянулся со сна крылом... Кто-то неслышно нагнал на велосипеде и поехал рядом, присматриваясь:

— Ты Семен!

— Да, нет... — сказал Василий, и тот покатил дальше.

Сейчас поверху, лесом, идти одному до самой брандвахты... Сказать Генке, что уходит...

У клуба уже не сутолочились, сидели на ступеньках и на перилах. Василий издали хотел окликнуть Генку, а там низко вздохнул баян, невнятно что-то сказали и разом повалили с крыльца. Двое отделились и пошли в свет, в зарю, заиграв протяжное, и все потянулись за ними и, невольно, Василий: позади всех, смущаясь своего роста, ширины плеч, своей матерости...

Спустились проулком, и стало видно реку, поленницы и лодки у самой воды. Многие побежали к ним, а двое с баяном свернули на скользкую от росы травку и оборвали игру. Василий, присмотрелся — и в одном узнал Генку.

Стало слышно, как звонко раскатываются сухие дрова, и уже тащили поленья, негромко смеясь и перекликаясь:

— Это чьи! Почтальоновы!

— Нимало... Францевых...

— Вот Николай-то Григорьевич да-аст! — Поленья были здоровенные, в четверть чурки.

А Генка и парень курили на бревне, баян стоял между ними, и Генка придерживал его небрежно.

— Вась, садись! — крикнул он и похлопал по баяну. Василий только головой мотнул — отказался.

Когда разгорелся огонь и сделал все лица резкими и состарил, он подумал, какое у него лицо, отошел и сел на чурбак, светлевший в темноте свежим отпилом.

А из проулка все подходили. Иные сворачивали к Василию и, разглядев, что чужой, молча направлялись к костру.

Худенькая девчонка в распахнутом пальто быстро подошла к Генке, что-то сказала. Генка бросил сигарету и взял баян.

Первой выскочила деваха в кедах, вытянула на середину ту, что говорила с Генкой. Худенькая застенчиво танцевала, придерживая полы расстегнутого пальто, а здоровая вовсю работала бедрами, прямо свирепо отплясывала...

— Ну, Вась, иди! — позвал Генка, внезапно перестав играть. И сидящие на бревнах и чурбаках и остановившиеся в танце обернулись, озаренные костром, на Василия.

— Ладно, — гортанно как-то отозвался Василий. — Играй. Кинь сигарету, — от смущения прибавил он, хотя не курил.

Генка бросил сперва сигареты, потом спички. Василий плохо видел на свет и не поймал. Нашарил на мокрой, облепленной песком траве, достал сигарету, но не прижег, измял...

У Генкиных ног лежал парнишка в полушубке, за поднятым воротником лица не видно. Лежал не шевелясь, и вдруг привстал и крикнул:

— Дамское танго!

Генкин сосед взял баян и от костра к Василию медленно пошла давешняя, в кедах. Василий встал нечаянно...

Она была по глаза ему, по брови. Баян играл, срываясь, но все равно славно. Рядом стояли и тихо покачивались Генка с худенькой в пальто. «Полинка», — подумал Василий. Оба смотрели на него и улыбались. И он улыбался.

Он чувствовал под рукой сильный, развитый стан. Они танцевали у костра, и еще пары три, а над ними была ночь и промытые звезды.

Он понимал, как должно быть это чудесно, но понимал, как бы памятью о том, что было когда-то...

Была речка Поперечка и деревня Поперечка, и качели, взлетающие в майских сумерках, и кто-то в светлом платье на другом конце доски... А на бревнышках, возле качелей, — девчата. И черемшой же от них несло! Она пучками лежала на траве перед ними. Они сидели и хрупали, как овечки. И сам — придешь и, первым делом рубаешь, чтоб не слышать запаху. Это они с Колькой Тамбаевым подучили девчонок молчать, не подавать голоса, и Венка сослепу не мог узнать ту, с которой прежние вечера ходил. Стоял долгий, в очках, слабо улыбался, а девчонки от смеха падали одна другой в колени...

А и заморозки были тогда! Утром идешь к палаткам за околицей, а трава ломкая и цветы ломкие, и сапоги от них в инее. И нынче хватанет...

Спиной через пиджак и свитер он чувствовал, как похолодало, и слышал тепло костра, когда подходили ближе.

— Вы с Генкой? На земснаряде?.. — спросила она.

— С грязнухи... — кивнул Василий.

— Скорей бы вас утащили. Спать нельзя: скрип да скрип...

— Уведут... — посулил он.

Везде все девчонки так вызнавали: надолго ли? Счастливые, дурочки, что веселее стало, новые ребята из города...

Она была в крупно связанной зеленой кофте, из-под широкого ворота торчала другая, розовая, а плечи так и остались наполовину голые.

Ему захотелось разглядеть ее, и когда она повернулась лицом на костер, он отстранился и посмотрел. Она улыбнулась — зубы у нее были крупные и на резце щербинка...

Так вот поездить по деревням, поискать в жены. Как в сказке. То-то мать порадуется...

Сзади сильно потянули за воротник. Обернулся — стоял высокий, в светлом плаще, за ним дружки, человек пять.

— Ну! — пришагнул к ним Василий, чувствуя, как становится легко. Сам легкий и руки легкие.

— Отойди от нее, — сказал в плаще.

— Это в честь чего?

— Отойдешь — нет? — сдержанно спросил в плаще, а те ожидающе молчали.

— Ясно... понятливый. Дотанцую и уйду, — сказал он, глядя в чужое крепкое лицо и повернулся к ней.

Она стояла, ждала.

Когда их заслонили другие пары, он спросил ее враждебно и грубо:

— Твой, что ли?

Она тихо ответила, — он не расслышал, и баян стал заканчивать.

— Ладно, иди, — все так же грубо сказал он. — У меня лоб не медный.

Отошел к чурбаку, сел, и сразу появились Генна с Полиной.

Генка как-то не так глянул на него и молча опустился рядом.

Значит, видел. Ну и ладно. Что теперь тягаться с ними... Встать и уйти... Все равно уведут скоро...

Потом он ничего не думал. Сидел, слышал, как горит лицо, отклеивал и приклеивал изоленту на порезанном пальце.

А они курили шагах в десяти, и у высокого на плаще, на погончике поблескивала пряжка.

Дома такая была. На коровьей упряжи. Когда на корове по дрова ездили. С ним, что ли, заводиться! Сорокапятка! Да где! Те уж дослуживают...

А баян играл, и горел костер, и рядом пришибленно сидели Генка с Полинкой, а той, с которой танцевал, нигде не было, верно за костер отошла... Встать и уйти.

И точно вся тяжесть и смута этих дней разом навалились на него, и стало так худо, так нестерпимо гнетуще, что невозможно было дольше носить и перерабатывать это в себе, и должно было как-то избыться.

— Уходи отсюда, — глухо сказал он Генке. Тот промолчал, только пуще нагорбился.

— Ну, уходи... Я сказал!

— Не уйду я, — угрюмо отозвался Генка.

— Генка, честно, прошу... Полинка, уйдите... Ну, смотри, я сказал...

Он стоял, забыв и Генку, и все, чем томился, и, когда шел через круг за костер, было ему легко и дерзко, и он не видел, как Полинка поднялась и медленно пошла прочь и Генка задумчиво помешкал, и скользнул за ней...

А та, к которой подходил Василий, стояла, чуть выставив ногу и обхватив локти, стояла, как, верно, привыкла, чтобы не казаться такой рослой.

— Пойдем!.. — сказал он, беря ее за руку и улыбаясь легко и виновато.

И снова танцевали они под звездами. Опять срывался и перевирал баян, но уже ничего не грезилось, не вспоминалось Василию. Было только милое, детское почти лицо, плечо, смуглое от загара, и вся она — близко.

— Откуда ты! — вымолвил он.

— А!.. — чудесно спросила она лицом.

— Откуда ты!

— Не пойму! — отчаянно сказала она.

— Отку-да ты-ы! — раздельно и зычно проговорил он, и в соседних парах засмеялись, и она засмеялась.

— Да сроду здешняя. В восьмом на второй год оставили... Уходи! Тебе синяков насадят!

— А тебе!

— Мне-е!! Да их братка задавит!

«Да уж, если в тебя», — подумал он.

— Уходи... У них цепи от «Дружбы».

— Ты ходишь с ним! — кивнул он на сторону.

— Да нет же...

— А нет, так уйдем, а то и правда, отканителят, — сказал он весело и быстро в лицо ей. — Новый дом... Сруб в конце порядка... Придешь!

— Приду... Правда, приду! Иди! — отпихивала она, глядя через его плечо.

И в тот миг, как вякнул и смолк баян, он направился в темноту, примерялся глазами к раскиданным белеющим поленьям и слышал, что идут, но еще не близко.

Невдалеке была забока — крутой берег в кустах и деревьях. Он все скорее шел к ней, наискось поднимаясь отлогим, в гальке и траве подбережьем, и камешки хрустели и щелкали, выбитые ногой. От костра засвистели, затопотали, будто гонятся, а те, что, перебиваясь шагом и пощелкивая галькой, догоняли его, — молчали, только один прерывисто окликнул:

— Друг... Стой-ка... Который час! — и хохотнул.

Василий подходил к длинной поленнице возле зарослей, когда те побежали. И он побежал, вдоль нее и только успел заскочить за торец и развернуться, как вылетел передний, не в плаще, а другой, коренастый. И яростно уверенный, что сшибет, завалит его, не успевшего и приостановиться, Василий так звезданул, что у того пропало дыхание. И до чего же оказался он комлист, крепок на ногах; устоял и даже Василия сумел достать, но легко, вскользь, а за ним еще набегали, и хрустело за поленницей.

Хлестнули ветки, и первые шаги он пробежал, как в воде, высоко выкидывая ноги,

бежал с деревянной лопатой в прорубь изгороди. Что он там делал, кричал и доказывал — неизвестно. Только пришел весь мокрый, освободил от упряжки оленей, упал на нарты вниз головой и забормотал жалобно и угрожающе по-якутски.

Пришедший за очередной бочкой Рома-татарин с обледеневшей челкой, выпил в себя полстакана спирту, хлопнул старика по спине и заржал:

— Ну, соха, взбесился. Да мы детка твоя будем!

Прибравшись в избушке, я вытащил вещи гостей на нарты, но тут прибежал один из них. За ружьем. Недобро посверкав единственным глазом, пнул меня в ногу, буркнув:

— Знать будешь Леху! — выскочил на улицу, схватил два ружья и патронташ. Вскоре прогремели несколько выстрелов. На что Костя сказал:

— Пропадай сохатый.

Вечером, при отце, меня не тронули, но вещи внесли в дом. Завскладом с виду такой представительный, (он у нас в школе на торжественных все в президиумах сидел), приглашал отца отведать свеженины. Отец только и сказал:

— Ну и сволочь же ты оказывается. Матку стрелил.

— А что, с голоду пропадать! Еще неизвестно, чего ты, Григорьевич, напромышлял. Да и разобрать-то трудно. Зверь, он и есть зверь. Верно, ребята!.. Мы ведь так. Отдохнуть. А между делом снаряжение да провиантишко оправдать рыбкой. Вообще-то, Григорьевич, можно и покультурнее. А то ведь чего в тайге не бывает...

— В тайге прокурор — медведь, — поддакнул Володьке плешивый и злой мужичонка, называвший себя Коровиным.

В общем, оставили мы Костю на другой день наедине с этими орлами. Вы представляете, что наделала эта братва на Хамринских озерах! Рыбу, ту солили, какая попадет. Для быстроты не пороли. И, конечно, смородинным листом не прокладывали. А сдал рыбу Коротков не в кооперацию, а в ОРС свой, не за копейки, — рубли.

Чуть не лопнула таежная верность русского и якута. Костя Захарович от коротковского набега постарел лет на десять, но осенью по первому снегу вывез нашу рыбу. И нам в сельпо выдали три тысячи рублей старыми. Деньги были большие и хорошие.

Подъехал он к нашему дому непривычно тихо.

— Ну, Григорич, беда ты мне принес. Плохой народ стает, дикий прямо.

Отец промолчал. Он представлял, что значит Коротков с его длинными руками.

По весне батя съездил к прокурору Рубцову, начальнику милиции Трусову. Но те удивленно его выслушали, состава преступления в действиях завскладом не нашли, и не помогли: правда, обещали позвонить в Заготпушнину.

Снова приехал Костя, не раздеваясь опростал чайники, вежливо сказал:

— Спасибо, Ирка. — Подошел к зеркалу и долго глядел в него. Потом набил свою трубку и выдал тайну всей своей жизни:

— Я, однака, четыреста тысяч накопил.

— К-куда вам! — зазаикался я. — Вам же лет сколько!..

— Беда, глупый. В школу ходить надо, а не в гольцы бегать... Тягач в тайгу людям делать хотел, на свой имя. Там одна места керосина многа, нефтью зовут. Зачем добро пропадай! — покачал головой. — А раз такой дела в тайге, не надо тягач строить.

Скоро Костя по-настоящему слег в больницу. Отца простил. А зимой знакомый охотник передал отцу, что Костя Богорысов покинул Хамринские озера. Навсегда.

Николай САМОХИН

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗМОЖНЫ ИСКАЖЕНИЯ

Как раз в тот момент, когда я проглотил последние строчки выступления, в коридоре показался Гришкин.

— Ну, отец, поздравляю! — закричал я. — Наконец-то!.. Читал уже выступление такого-то? — и развернул перед ним газету с выступлением и портретом.

— А, этого, — сказал Гришкин, мельком глянув в газету. — В руках держал, а читать — не читал... И не буду.

— Почему? — удивился я.

— Рожа мне его не нравится, — сказал Гришкин.

— Ну, дорогой!.. — я от негодования даже слова растерял. — Ну, милый... Это уж... извини что... Ты давай себе отчет! Человек высказывает передовое, наболевшие мысли...

— С такой рожей? — недоверчиво спросил Гришкин.

— Господи! — сказал я. — Дикость какая-то! Да при чем тут рожа? Ты смотри сюда — смотри что написано: «С чувством глубокого удовлетворения нельзя не отметить, что на смену чувству некоторого разочарования пришло чувство законной гордости и неподдельного восхищения». Чувствуешь, а?

— Хм, —сказал Гришкин и поскреб затылок. — Это, конечно... вообще-то. Но только рожа у него я тебе скажу...

— Тьфу! — разъярился я. — Затвердил как попугай: рожа, рожа! Говорю, балда такая, прочти до конца — он тебе еще красавцем покажется!

— Ты думаешь? — заколебался Гришкин. — Я в принципе-то не против, — он протянул руку за газетой. — Можно в принципе. Просто, веришь—нет, когда такая рожа — у меня взаимности не возникает...

— Взаимности! — всплеснул руками я. — Взаимности ему надо! Тебе, что — жениться на нем предлагают? Ну, люди!..

— Ладно, — окончательно сдался Гришкин. — Черт с ним — почитаю.... Выстригу рожу и почитаю.

— Вспотеешь с тобой, Гришкин, — устало сказал я. — Честное слово... В конце концов, пойми ты, нельзя по фотографии судить. Газета все-таки. Возможны искажения — ретушь, и все такое.

— Эх, голова! — встрепенулся Гришкин. — Как это я раньше не сообразил! Конечно, возможны искажения, — и впился глазами в портрет.

— Ну, факт! — убежденно сказал он. — Отретушировано! Будь здоров, как отретушировано! Мама родная! Представляю себе, что за рожа у него в действительности!

И Гришкин решительно вернул мне газету...

ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ

Да, что и говорить, эта лекция многих пристыдила. Редко кто осмеливался прямо и открыто смотреть на лектора. Сидели, помаргивали, крутили пуговицы. Потому что, наверняка, если не всех, то девяносто процентов находящихся в зале, произносимое с трибуны касалось непосредственно. Особенно неуютно мы себя почувствовали, когда лектор перешел к конкретным примерам и стал называть фамилии отдельных граждан, в разное время малодушно прошедших мимо фактов хулиганства и не осмелившихся вмешаться. Тут все поняли, что эти фамилии так или иначе фиксируются и, выходит, никто не гарантирован, что однажды его где-нибудь на подобной лекции не пригвоздят к позорному столбу.

После лекции я поблагодарил лектора от лица месткома и пошел проводить его.

— Очень хорошо вы объясняли, — сказал я по дороге. — Просто очень хорошо. Доходчиво... Давно этим занимаетесь?

— Чем? — спросил лектор. — Ах, этим... Да уж восемь лет.

— Смотри ты! — покачал головой я. — А с виду такие щуплые.

— У меня эта лекция не самая удачная, — скромно сказал лектор. — Я ею не абсолютно доволен. Не было, знаете ли, местных примеров, с вашего предприятия.

— Кхм, — сказал я. — Ну, разумеется... Примеры — это само собой. И у нас на предприятии, конечно, есть еще отдельные подобные товарищи. Но теперь, думаю, после этих ваших слов подобных товарищей не останется. Лично я, скажем, для себя решил никогда в дальнейшем мимо таких фактов не проходить...

Тут мы повернули за угол и неожиданно увидели безобразную картину: прямо против освещенных окон универмага с ужасным топотом, выкриками, буханьем и хэканьем дрались двое парней. А вокруг, засунув руки в карманы плащей, стояло человек, может, шесть любопытных прохожих.

— Ну, товарищ лектор! — крикнул я, на ходу подсучивая рукава. — В чью пользу вмешиваться будем?!

— Черт-те, — растерянно сказал лектор. — Надо бы разобраться... Кто-кого, и за что.

— Выясним! — сказал я и кинулся к молоденькой девушке, с краю: — Давно здесь стоите? Кто из них первый-то начал?

— Да только подошла, еще не разобралась, — пожала плечами девушка.

— Может, блондин? — спросил я. — Смотрите — как старается.

Блондин как раз поднажал. Он повесил противника на перильца, ограждающие тротуар, и энергично выколачивал из него пыль.

— Ха! — оживилась девушка. — Это что! Вы бы посмотрели, как минуту назад брюнет его мутузил!..

Я тронул за рукав стоявшего рядом мужчину и повторил ему свой вопрос.

— Понимаете, — сказал мужчина. — Вот уж сколько смотрю — и никак не могу определить. Лично мне брюнет более симпатичен — он честнее как-то дерется, ноги в ход не пускает. Но, с другой стороны, — у блондина лицо поинтеллигентнее. А вообще-то, темное дело.

— Нет ясности, — доложил я, вернувшись к лектору.

— М-да, — сказал он и почесал затылок.

— Может, скрутим того, кто в данный момент одолевает? — предложил я, поко-

сившись на дерущихся. В данный момент, кстати, одолевал брюнет, а блондин соответственно висел на перилах.

— Гм, — сказал лектор. — А справедливо будет?

— Почем мне знать! Вы же подкованны в этой области — вот и решайте!

— Так-то оно так, — замялся лектор. — А все-таки...

— Ну, схватим обоих. Вы — одного, я — другого.

— Схватишь их, дьяволов! — тоскливо сказал лектор. — У вас какой вес?

— Шестьдесят одно кило.

— Ну вот, —вздохнул он. — А у меня — пятьдесят четыре. А это ж, посмотрите, что делается — бой быков!

В конце концов мы нашли выход. Подговорили зрителей (тут лектор, правда, поработал), и все вместе начали скандировать:

— Пре-кра-тить! Пре-кра-тить!..

Парни остановились.

— Че надо? — спросил блондин, выкатив на нас невидящие глаза.

— Прекратите это отвратительное побоище! — вибрирующим от душевного напряжения голосом произнес лектор.

— Ух, гнида! — сказал брюнет и честно гвозданул лектора в ухо.

Слава те, господи! Вот теперь все прояснилось. Я издал боевой клич и ринулся на брюнета. Через секунду мы с брюнетом и примкнувшим блондином бешено катались по земле...

Думаю, что теперь у лектора есть конкретный пример с нашего предприятия. Правда, учитывая приговор народного суда (всем троим дали по десять суток), вряд ли этот пример будет положительным...

Е. РАППОПОРТ

МАЯКОВСКИЙ И ЗАБАЙКАЛЬЕ

I

Он никогда не забывал своих далеких друзей. А сейчас вспоминал их чаще и чаще.

Там, в неведомой ему Чите, жили настоящие товарищи. Товарищи и по жизни, и «по дракам».

Чита влекла к себе. Потому что им можно все доверить — поймут.

Конечно же, они не единственные. Есть еще Брики, Шкловский, Катаич...

Здесь в Москве, что-то лопнуло. Холоднее стали отношения с Пастернаком, а его он нежно любил, завидовал тихой гениальности «вдохновенного араба». Так через много лет назовет Пастернака Илья «Лохматый» — Эренбург.

Портили настроение ермиловы, сосновские, возмущенные нетрадиционным поведением и стихами. 12 апреля 1930 года, в свои последние часы, он их не забудет и пригвоздит в предсмертном письме:

«Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться».

8 сентября 1921 года Лев Сосновский напечатал грубый и развязный по тону фельетон «Довольно «маяковщины». В нем шла речь про решение Дисциплинарного товарищеского суда по делу о неуплате Госиздатом гонорара за «Мистерию-буфф».

Читатель был введен в заблуждение. Поэтому-то Маяковский и предпринял попытку напечатать в центральных газетах свое заявление в юридический отдел Московского городского Совета профессиональных союзов. Сделать это не удалось.

Он посылает заявление вместе с письмом в Читу, редактору газеты «Дальне-Восточный телеграф» Николаю Федоровичу Чужаку. И там его печатают с подробным комментарием.

В заявлении есть такое место:

«Потеряв полтора месяца на разговоры о напечатании пьесы и $2^1/_2$ на хождение за заработной платой, я, имея другие дела, должен от этого удовольствия на будущее время отказаться. Так как руководители Госиздата, во-первых, не желают признавать существующих законов об оплате труда; так как, во-вторых, в этом непризнании руководствуются, очевидно, личными симпатиями, недопустимыми в учреждениях Республики; так как, в-третьих, такой личный способ вредит всему делу развития литературы в Республике; так как, в-четвертых, лица, стоящие во главе Госиздата, в выборе печатаемых литературных произведений обнаруживают полную профессиональную безграмотность, несовместимую с их ответственными постами, так как, в-пятых, Госиздат упорствует в своей безграмотности, саботируя издание литературы высокой квалификации, невзирая даже на требования массы рабочих; так как, в-шестых, форма ответов на законные вопросы явно оскорбительна и для запрашивающего профсоюза и для меня, как для работника, защищаемого профсоюзом, — прошу Вас расследовать это дело, принудить Государственное издательство оплатить мой труд и привлечь к законной ответственности руководителей Госиздата по указываемым мною 6 пунктам».

Комментируя это заявление в газете «Дальне-Восточный телеграф» за 9 октября 1921 года, Н. Чужак с возмущением пересказывает фельетон, а затем сообщает:

«Месяца полтора тому назад пишущий эти строки получил личное письмо от В. В. Маяковского из Москвы, где тот между прочим пишет:

«Дорогой товарищ Чужак!

На Ваш шутливый запрос о том, «как живет и работает Маяковский», отвечаю. Здесь приходится так грызться, что щеки летают в воздухе. Работать почти не приходится: грызня, агитация и т. п. выжирают из меня все вместе с печонками. Для

иллюстрации шлю копию моего заявления в МГСПС о Госиздате. 25 числа дисциплинарный суд. Обвиняемый—Госиздат (Вейс, Мещеряков и Скворцов). Обвинитель — я. Постараюсь перегрызть все, что возможно. Не считайте изложенное в заявлении за исключение: таких случаев тыщи. Со «150.000.000» было так же, если не хуже. Месяцев 9—10 я обивал пороги и головы. Уже по отпечатании была какая-то «ревизия» и «выемка»: кто, мол, смеет печатать такую дрянь, когда на Немировича-Данченко бумаги не хватает! «Ну, батенька, подвели же вы нас!» — сказал мне руководитель Госиздата, а потом утешил, сказав, что «по-видимому, с вами ничего не будет». Но — это все мелочи. Главное — мы побеждаем. Сторонники растут. Все выступающее против нас настолько мелко и глупо, что всякий, «коммерчески» не заинтересованный в нашем уничтожении, переходит к нам».

«На обороте копии заявления, — пишет Чужак, — приписка Владимира Владимировича: «Веселенькая историйка? Так живет и работает Маяковский».

Вейса и Скворцова он все-таки проучил: их исключили из профсоюза на шесть месяцев, а Вейсу было поставлено на вид небрежное отношение к обязанностям.

«После двух судов, — заметит о гонораре за «Мистерию» поэт в статье «Только не воспоминания», — и это, наконец, разрешилось уже в Наркомтруде, и я вез домой муку, крупу и сахар — эквивалент строк».

Доброе отношение к себе читинцев Маяковский чувствовал постоянно. И он благодарил их, как только мог.

Еще в апреле Владимир Владимирович послал вторую редакцию «Мистерии» и надеялся, что в Чите она выйдет раньше московского издания. Но полиграфическая бедность столицы Дальневосточной республики помешала этому. А Скворцов и Вейс, напуганные вмешательством наркома просвещения, сделали все, чтобы книжка вышла в июне. Только к этому сроку поэма была отпечатана и в Чите. В седьмом номере альманаха «Творчество» Чужак поместил рецензию:

«Мистерия-буфф» — это первая попытка Вл. Маяковского эпически-изобразительно, со стороны подойти к тому огромному и сложному комплексу, который внесла в наше творимое бытие революция.

Сразу же после судебных процедур у него крепнет желание съездить в Читу. В Забайкалье можно забыться от московской суеты, поработать. Хотелось повидать Асеева, послушать его новые стихи. К его таланту он относится особенно бережно, с любопытством.

Мечты о поездке подогреваются разговорами с Александром Михайловичем Краснощековым, председателем правительства Дальневосточной республики. Они познакомились в Москве летом 1921 года, когда у Маяковского началась тяжба с Госиздатом. И долго были приятелями. (У Бриков и Маяковского в Сокольниках жила школьница — дочь А. М. Краснощекова —Луэлла).

Краснощекова расспрашивал о друзьях пристрастно. От него узнал, что Асеев работает литсотрудником в газете «Дальне-Восточный телеграф», а Сергей Третьяков исполняет обязанности министра просвещения Дальневосточной республики. Несмотря на занятость, оба пишут много, иногда печатаются под совместным псевдонимом — Буль-Буль или Омнибус.

В те же напряженные для поэта августовские дни приехал в Москву Сергей Михайлович Третьяков. Он занимался правительственными делами ДВР, но, конечно, не мог не повидать Маяковского. Друзья читали друг другу до устали, договорились вместе ехать.

В письме Н. Н. Асееву Маяковский (около 20 августа 1921 года) сообщает:

«Хочу приехать в Читу. Если Краснощеков поедет, поеду и я».

А вот несколько информаций из газеты «Дальне-Восточный телеграф»:

17 августа: «Редакцией журнала «Творчество» (Чита) получено сообщение из Москвы о живейшем интересе левых художественных кругов к работе дальневосточных товарищей. Постановка вопросов искусства группой «Творчество» привлекает внимание москвичей не только со стороны дальнейшей проработки, но и большого теоретического углубления.

Возможен одновременно с С. М. Третьяковым выезд в Читу поэта Маяковского».

28 августа: «Из Москвы получено сообщение, что на днях оттуда выехали в Читу поэты Влад. Влад. Маяковский и С. М. Третьяков».

8 сентября: «Приезд в Читу поэта В. В. Маяковского отложен на некоторое время».

Что же помешало поездке? В хронике

дел поэта после 20 августа, когда было отправлено упоминавшееся письмо Н. Асееву, дни были распределены так:

22 — выступление в Доме печати на диспуте о перспективах театрального сезона, 25 состоялось первое заседание товарищеского суда, а 29 — в однодневной газете «На помощь», изданной «Известиями» в помощь голодающим Поволжья, напечатано стихотворение «Два не совсем обычных случая».

Работа над этой вещью велась больше недели. В цитированном выше письме Н. Н. Асееву есть такие строки:

«Вы просите песен, их нет у меня... Полтора года я не брал в рот рифм (пера в руки, как Вам известно, я не брал никогда). Сейчас только чувствую себя крайне удрученным, так как нужно во Всеросгазету сдать стихи о голоде. Если с этого что-нибудь поэтическое начнется, то, конечно, будет идти в ДВР...»

Если учесть, что газета «На помощь» не попала за Уральский хребет, станет ясно, как важен факт опубликования «Двух не совсем обычных случаев» в «Дальне-Восточном телеграфе» № 62 за воскресенье 16 октября 1921 года.

Кстати, все в том же письме Асееву Маяковский говорит: «Шлю стишок «Наш быт». Можно бы, пожалуй, и напечатать. Отпечатан только в Агитросте — распространение малое».

Речь идет об одном очень интересном произведении поэта, которое позднее было названо «Неразбериха». По своему настроению, по отдельно совпадающим строкам («Черт его знает, какая неразбериха! А сколько их, таких неразберих?») оно напоминает знаменитое стихотворение «Прозаседавшиеся». Любопытно заметить, что в одном из самых первых вариантов «Прозаседавшиеся» называлось «Наш быт».

Так вот, «Наш быт» был опубликован в газете «Агитроста» 16 августа. В комментарии к полному собранию сочинений В. В. Маяковского (том 13, стр. 311, М., ГИХЛ, 1961) сказано: «Сведений о публикации этого стихотворения в ДВР нет».

Подшивка полного комплекта «Дальне-Восточного телеграфа» давно стала уникальной. Тем не менее удалось установить, что в номере 45 этой газеты за воскресенье 25 сентября 1921 года со ссылкой «из стенной газеты московского Роста» напечатан полный текст стихотворения «Наш быт» («Неразбериха»), отличающийся от более поздних публикаций лишь строками.

Это московское лето было для него трудным. Не стало легче и осенью. Приходилось много работать для «Окон Сатиры». Асеев потом отмечал: «Да, Маяковский истратил половину своего таланта на непосредственные агитки. Они были нужны во время гражданской войны, интервенции, разрухи. Но немногие из них дожили до наших дней». (Из письма Н. Н. Асеева студентам Новосибирского электротехнического института, март, 1962 года. Оригинал письма — в библиотеке НЭТИ).

Трудно было и материально. И тут на помощь приходили читинцы. «Приехал из Владивостока скульптор Жуков, привез сборник статей Чужака (большинство старые) и газету «Дальне-Восточный телеграф», в котором большая статья Чужака о Сосновском. Прислал Чужак гонорар мне за посланные материалы. Сегодня Жуков у нас обедает», — сообщает Владимир Владимирович в письме Лиле Юрьевне Брик в Ригу 2 ноября 21 года. Гонорар, правда, был необычным: крупа, макароны, мука, сушеный картофель...

Как же впервые попали произведения поэта в Читу? Стремление послать их Асееву, Третьякову, Чужаку было естественным: знакомы они были давно. Друзья постоянно сотрудничали не только в газетах ДВР, но и в журнале «Творчество». В редакционной заметке седьмого номера за 21 г. рассказывается: «В январе с. г. от вернувшегося из Москвы П. М. Никифорова, члена правительства ДВР, мы узнали, что редактируемое нами дальне-восточное «Творчество» (приморские- № 1—6)[1] попало (впервые же) в Москву, где было вручено в числе других В. В. Маяковскому... явившись, между прочим, и предметом специального публичного выступления В. В. Маяковского. Желание В. В. Маяковского связаться с нами тогда же на расстоянии, а через нас и со старыми соратниками по искусству Д. Д. Бурлюком, Н. Н. Асеевым и другими не могло осуществиться вследствие спешно-

[1] Первые номера альманаха вышли во Владивостоке, а после оккупации Владивостока издавались в Чите.

сти отъезда П. М. Никифорова, и только в начале апреля с. г. через приехавшего в Читу товарища... мы получили от поэта письмо, покрытое приписками его друзей, а также и отдельные их письма, и рукопись последней, еще не отпечатанной в Москве поэмы Маяковского — для напечатания...».

Письма и поэму «150.000.000» привез из Москвы в Читу курсант Л. Борисов, учившийся тогда в столице. В московском представительстве ДВР он встретился с секретарем Маяковского, который, узнав что Л. Борисов — читинец, пригласил его «на чашку чая» к поэту. Встреча состоялась на М. Лубянке в РОСТа. Вот как рассказывает о ней Л. Борисов:

«В комнате было довольно людно; были мужчины и женщины. Я обратился к первому же товарищу, с засученными до локтей рукавами и кистями в руках, поднявшемуся с пола. На мой вопрос, могу ли я видеть Маяковского, он громко и протяжно крикнул: «Маяковский! Тебя!» Все оглянулись, и из группы нескольких человек раздался сильный бас: «Я-а-а!»

Обойдя несколько сидевших на полу товарищей и кучу флаконов с красками, я предстал перед высоким и стройным человеком с большим открытым лицом. Это был Маяковский.

Одетый в черное пальто и черную круглую шапочку, он произвел впечатление сильного и здорового физически человека. Чувствовалась какая-то особая мощь, мощь спартанца. Он что-то рисовал, окруженный несколькими товарищами, мой приход оторвал его от работы. Наш разговор продолжался около получаса, из них больше половины Маяковский расспрашивал меня о сибирском житье-бытье... Набросав письмо и передав мне некоторые материалы, Маяковский дружески попрощался со мной...»

В «Творчестве» несколько раз вслед за воспоминаниями Л. Борисова публиковались объявления:

«Произведение, в котором бьется окровавленное сердце эпохи; произведение, которое одной из самых волнующих страниц войдет в историю «словесности русской», — будет напечатано впервые в захолустной Чите! Очень большая честь для Читы».

«Печатается поэма «150.000.000». Выйдет в начале июня».

Конечно же, поэма в Чите была напечатана не впервые. Еще в апреле Госиздат выпустил ее, правда, незначительным даже по тем временам тиражом — 5000 экземпляров.

Поэта очень огорчало, что Владимиру Ильичу Ленину не понравилось произведение. 6 мая 1921 года Ильич послал Луначарскому записку: «Как не стыдно голосовать за издание «150.000.000» Маяковского в 5000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из десяти и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм. Ленин»[1].

Тогда же Владимир Ильич обратился к М. Н. Покровскому, ведавшему делами Госиздата:

«Т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п. 1) Луначарский провел в коллегии(увы!) печатание «150.000.000» Маяковского. Нельзя ли это пресечь! Надо это пресечь! Условимся, чтобы не больше двух раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз. 2) Киселиса, который, говорят, художник-«реалист», Луначарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и прямо и косвенно. Нельзя ли найти надежных антифутуристов? Ленин».

Вот, вероятно, что послужило причиной для нападок на Маяковского и со стороны некоторых критиков, и со стороны издателей. Тогда еще не было великолепной «Травы забвения» В. Катаева, где сказано: «Ленин назвал Достоевского архискверным, что не помешало ему подписать декрет о сооружении Достоевскому памятника».

Следует обратить внимание, что вопрос об издании поэмы Владимир Ильич, воспитанный на произведениях классики, тесно связывал с вопросом о футуризме. Мнение его о Маяковском, как известно, претерпело изменения.

Многие видные литераторы дали восторженный отзыв поэме. В. Я. Брюсов, бывший в то время заместителем заведующего Литературным отделом Наркомпроса, направил в Госиздат письмо: «Коллегия ЛИТО, признав направленную в Государственное издательство рукопись т. Маяков-

[1] Цитируется по «Литературному наследству», изд. АН СССР, т. 65, стр. 210.

ского — «150 миллионов» — имеющей исключительное агитационное значение, просит означенную рукопись издать в самом срочном порядке. О последующем решении ЛИТО просит срочно поставить его в известность».

Тем не менее в издательстве началась волокита, рукопись пролежала без движения полгода.

В этих-то условиях «150.000.000» и были напечатаны в Чите. Больше того, в Чите впервые опубликована положительная рецензия на поэму. В газете «Дальне-Восточный телеграф» № 10 за 13 августа 1921 года Н. Чужак выступил со статьей «Иванное», отталкиваясь в названии от первых вариантов наименования поэмы — «Былина об Иване», «Иван. Былина». Рецензент писал: «Вот такая же народность, такая же глубокая художественная почвенность отмечает, с нашей точки зрения, и безымянную поэму «150.000.000». Уже тогда, в 21 году, рецензент называет Маяковского величайшим поэтом эпохи. Слова эти с полным правом могут быть названы пророческими.

Ему, Маяковскому, интересно было бы посмотреть спектакль по его трагедии «Владимир Маяковский», поставленный в конце 21 года в Чите. Любопытно, что в роли В. Маяковского выступил Сергей Третьяков, режиссировал спектакль Николай Асеев, оформление — друга Владимира Владимировича — художника В. Пальмова.

У него и у читинцев были общие литературные симпатии, общая цель работы в поэзии. В последнее время, не сговариваясь, почти синхронно откликались они на события в стране.

Защищая свои позиции в искусстве, Николай Асеев публикует в Чите запальчивую, но верную по мысли статью «Мне стыдно». Она явилась ответом на выступление Леона Гардэ в «Дальне-Восточной правде» «Дегтярных дел мастера». По-прежнему именуя себя футуристом, хотя, как и Маяковский, Асеев стал писать проще и прозрачнее, Николай Николаевич с гневом замечал:

«Да, Леон Гардэ, мне стыдно. Стыдно не того, что я футурист, а того, что мне, футуристу, приходится сталкиваться с людьми, говорящими от лица пролетариата, от лица партии, на которую с верой и ожиданием устремлены глаза всех»...

Эту статью друга Маяковский приветствовал, как разумную борьбу за свои позиции.

1921 год ознаменован еще одним событием, безусловно, оказавшим влияние на Маяковского и его друзей. Умер Александр Блок. «Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться», — вспоминает Валентин Катаев. И — еще, он же: «Блок был совестью Маяковского».

В газете «Агитроста» 10 августа 1921 года Маяковский признавался: «Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство»...

А 14 августа в читинской газете «Дальне-Восточный телеграф», рядом со стихами Маяковского «Гейнеобразное» и «Отношение к барышне» появилась заметка Н. Асеева «Памяти поэта», воспроизводимая здесь впервые: «Кулаком ударила в сердце краткая молниеграмма: «Умер А. Блок». Умер поэт, по масштабу равный Лермонтову... Умер светлоустый поэт, сверстник поколения, умер, взметенный на гребень века белоснежной, рассыпавшейся его пеной... Талантливейший представитель группы символистов 900 годов, он один из них был достоин без оговорок звания поэта... Особенно трагична в своей простоте смерть Блока в нынешний год стихийных бед, обрушившихся на Россию. И — одной из равных по незаслуженной огромности своей нужно считать смерть мирового лирика».

Год прошел, выбраться в Читу Маяковский не сумел, досадовал на это, но не терял надежды. Сибирь, Забайкалье так и останутся для него несбывшейся мечтой. Еще и через восемь лет он будет думать об этой поездке, когда напишутся стихи:

Здесь дом
дадут
хороший нам
И ситный
без пайка,
Аж за Байкал
отброшенная
Попятится тайга.

II

В 22 году он не только не порывает своей связи с Читой, а, наоборот, посылает туда все новое, жадно выискивает сибир-

ские издания, где печатаются Асеев, Третьяков, Чужак. В Читу Маяковский отправляет теперь и вещи, написанные соратниками — москвичами Б. Пастернаком, В. Хлебниковым, Д. Петровским, Д. Бедным.

Борис Пастернак печатает здесь впервые свои стихи 1917 г. из «Книги степи»:

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Тут тоже следует сделать упрек комментатору большого тома Б. Л. Пастернака в серии «Библиотека поэта» (М.-Л., 1965 г.) Л. А. Озерову. Он пишет, что впервые это стихотворение было напечатано в журнале «Маковец» № 1 за 1922 год. В «Дальне-Восточном телеграфе» за 7 января 1922 года сказано: «Означенные два стихотворения московских поэтов (здесь есть стихотворение «России» Сергея Буданцева. — Е. Р.) появляются в печати впервые». Чтобы убедиться в правоте читинцев, достаточно сверить даты выхода газеты и журнала.

После освобождения Дальнего Востока, в Чите впервые же появляются стихи Д. Бедного «Дальневосточным героям»:

Простор бескрайний океана,
Знамен победный алый цвет.
Бойцы! От Бедного Демьяна
Примите пламенный привет.
Владивосток! Теперь ты вправе—
Права дала тебе борьба —
Стать на зло вражеской ораве
Красой ценнейшею в оправе
Советско-русского герба!

С особенно пристальным вниманием следит теперь Маяковский за изяществом стиха и тонкостью словесной инструментовки в асеевских вещах, печатаемых в Чите.

Галереи балерин —
Башни в танце...
Лорелеи перелив:
«Здесь останься!»

А как точно и легко перевел Асеев «Ороченьи песни», которые сохранили в себе фольклорные свойства считалок, скороговорок.

Кстати, эта асеевская работа забыта совершенно напрасно:

Лыжи ближе,
Ближе лыжи!
Лыжи лижут
Лысый лед.
Черны речи
Ороченьи, —
Пуля пала
На излет!
. . . .
Холод долог,
Ходит сполох
Без унтов
И без дорог...
Закрепляй
У чума полог —
Тьма ушиблась
О порог.

Маяковскому так не хватало теперь Асеева в Москве, что он даже говорил о возможности его вызова в Москву с наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским. И скоро в «Дальне-Восточном телеграфе» появляется информация: «По вызову А. В. Луначарского в Москву отбыл поэт Николай Асеев». Перед отъездом из Читы Асеев дал слово сообщать о всех литературных новостях, присылать свои стихи и очерки.

В это же время окрепла симпатия Маяковского к Сергею Третьякову, удивительно образованному и честному поэту-репортеру. В 1922 году С. М. Третьяков выпускает в Чите два стихотворных сборника — «Ясныш» и «Путевка». Маяковский ждет и его возвращения в столицу. В голове зреет план «Лефа» — журнала левого фронта искусств. И, когда контрреволюционные силы в ноябре 1922 года были изгнаны с территории ДВР и Дальневосточная республика вошла в состав Советской России, а Третьяков, наконец, окончательно поселился в Москве, Маяковский предложил ему свое соавторство. В 1923 году за двумя подписями В. Маяковского и С. Третьякова в газете «Беднота» появляется поэма «Рассказ про Клима из черноземных мест, про Всероссийскую выставку и Резинотрест». Отдельно выходит написанная в соавторстве другая агитпоэма — «Рассказ про то, как узнал Фаддей закон, защищающий рабочих людей».

В марте В. И. Ленин, выступая на Всероссийском съезде металлистов, похвалил стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся». Отзыв этот хорошо известен.

Выступая на диспуте «Больные вопросы советской печати» 14 декабря 1925 г., Маяковский вспоминал: «И только после того, как Ленин отметил меня, только тогда «Известия» стали меня печатать».

Поэт еще интенсивнее продолжает работать, поразительно много печатается. Ленинский отзыв окрылил его. Примолкли критики и издатели. Теперь он везде самый желанный автор.

Любопытные свидетельства этой обстановки есть в неопубликованном до сих пор письме Н. Н. Асеева из Москвы читинским друзьям от мая 1922 года:

«Но все эти литсобытия покрывает, ко-

нечно, похвала Ленина Маяковскому (Ленин на съезде металлистов иллюстрировал свои положения цитатой из Маяковского, высоко оценив ее политико-агитационное достоинство, напечатанная и вам уже, наверно, известная. Добавлю, что следствием ее, и очень ощутительным для Маяковского, было то, что ему в «Известиях» тотчас же стали платить за строчку по рублю золотом. ...Ленин будто бы сказал на днях: «Что это про Маяковского так много говорят, очевидно, действительно крупное литературное явление. Дайте мне все его сочинения». И теперь, говорят, сидит, читает «Войну и мир».

В этом вообще очень интересном письме Асеева широко дается обстановка литературной жизни Москвы. Есть в нем и такая деталь:

«Вчера у Бриков был «торжественный прием» Наркома. Были: Рощин, Хлебников, Пастернак, Крученых, Каменский, Рита Райт, Кушнир и весь Комфут[1]. Нападали на Луначарского все, он только откусывался. Спор шел в плоскости теперешней работы футуристов: современное, дескать, в них забивает «вечное»... В конце спора Луначарский признал, что «в этой комнате сейчас собрано все наиболее яркое и певучее нашего поколения».

... Из Читы уезжал последний из членов группы «Творчество» — Н. Ф. Чужак. В день пятой годовщины Октября, 7 ноября 1922 года, газета «Дальне-Восточный телеграф» публикует два подвала под названием «Автобиография В. В. Маяковского». Читатель Дальневосточной республики еще раз впервые прочел вещь великого поэта революции не в московском, а в своем издании. Теперь автобиографию все знают под названием «Я — сам». А тогда она сопровождалась предисловием:

«Перед отъездом с Д. Востока, мною получен от В. В. Маяковского корректурный оттиск его новой книжки «13 лет работы», представляющей автобиографию поэта до последних дней. Хотя в Москве эта книжка еще не вышла, но, зная интерес дальневосточного читателя к имени Маяковского и учитывая время, которое книжка пройдет до Читы в случае выхода, я даю из нее некоторые отрывки в дальневосточную печать. Думаю, что Владимир Владимирович не очень сильно будет меня ругать за это маленькое злоупотребление нашей далекой дружбой. Н. Чужак».

В главе, посвященной 22 году, Маяковский записал: «Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам».

ДВР, сыграв роль «буферного» государства, по декрету ВЦИК от 15 ноября 1922 года, влилась в РСФСР.

Чужак в Москве сначала был привлечен к сотрудничеству в «Лефе», но вскоре выяснились его серьезные разногласия с Маяковским по многим вопросам литературной теории и политики. Об этих разногласиях упомянуто в поэме «Рабочим Курска»:

... стрелки
лезут в стороны,
как Чужак.

Начиналась пора новой усиленной работы в окружении друзей-единомышленников.

---

[1] Комфут — коммунисты-футуристы. Слово придумано Маяковским. — *Прим. автора.*

Н. С. ТЕНДИТНИК

О ПОВЕСТЯХ ДМ. СЕРГЕЕВА

Среди книг иркутских писателей, появившихся за два минувших года, заметно выделяется проза Дмитрия Сергеева. Сборник рассказов «Осенние забереги», повесть «Позади фронта» и опубликованная в конце 1968 года повесть «Семейский сруб» привлекают внимание.

Автор обладает богатым жизненным опытом. Геолог, исколесивший тайгу вдоль и поперек, фронтовик, он пишет о том, что знает досконально. Его писательский почерк смел, размашист. Неторопливая и обстоятельная манера исследования характера сочетается в его прозе с динамичностью, стремительностью действия. В облике рассказчика-повествователя угадывается мудрая, волевая и человечная писательская индивидуальность.

На первых порах талантливая повесть «Позади фронта» была встречена критикой неласково. Ю. Мосткова не устраивает, что автор показывает «задворки» войны, не то главное, что мы привыкли о ней читать. В его суждении о повести звучит традиционное противопоставление «окопной правды» и «правды великой войны».

Но ведь повесть называется — «Позади фронта». Автор вовсе и не ставил своей задачей показать действующую на передовой армию. И нельзя от него требовать то, чего нет в его произведении.

«Позади фронта» — повесть о судьбе женщины на войне. Как большинство современных произведений на военную тему, эта повесть — о жизни, о ее законах и требованиях даже в тех условиях, когда все попрано смертью, жестокими испытаниями, тягостной неизвестностью и неопределенностью.

События в повести развертываются, действительно, вдали от передовой. Никто не совершает героических подвигов. Лейтенант Копылов получает ранение случайно. И вместе с тем, обстановка, в которой действуют герои, вряд ли более легкая, чем на передовой. Перейдя границу вместе с частями наступающей советской армии, БАО[1] сталкивается с последствиями войны. Мы видим советских людей, лишенных фашистами близких, крова. Мы сталкиваемся с мирным немецким населением, ожидающим возмездия. Страницы повести, посвященные описанию старухи-немки с детьми, оставленной ее близкими, пронизаны высоким гуманизмом.

Жестокие последствия войны заставляют Катерину — героиню повести, искать забвения от тяжкого горя в работе. Она покидает места, где ею все потеряно: погиб на фронте муж, умерла свекровь, замерз в амбаре, где они спасались после пожара, ее маленький сынишка. Копылов был единственным, кто что-то знал о ее прошлой жизни, связывал с нею. Одиночество и потерянность на войне сближают их, Катерина становится «полевой женой» Копылова, хотя последний и засматривается на Шурочку Чабанец, и любит ее одну.

Дм. Сергееву удается проникнуть в «тайное тайных» человека, показать, как настоящее чувство остается чистым и незапятнанным даже в самых жестоких испытаниях. Копылова трудно оправдать, но его можно понять, автор нигде не поступился правдой чувства, правдой психологического состояния. Копылов жалеет Катерину, но гораздо больше он привык к ее заботам, к «удобству». Оно оказалось возможным в жизни, которую он расценивает как эпизод; за ним должно последовать что-то настоящее. А Шурочка, при всей ее недоступности для Копылова, остается мечтой о настоящей любви.

Не случайно после объяснений с нею герой не может более вернуться к Катерине. Отвергнутый Шурочкой, он предпочитает остаться один.

Драматичен, исполнен высокого преклонения перед женщиной, перед ее чистотой, самоотверженностью и повседневным, неприметным подвигом, финал повести. Он наполнен суровым, трагедийным содержанием. Катерина беременная, покинутая, одинокая и потерянная, среди бесконечного движения войск, случайно встречает паренька-односельчанина. Он оказывается

[1] БАО — батальон аэродромного обслуживания *(ред.)*.

самым близким, единственным, связывающим ее с прошлым. Ее полные слез и горя глаза уже не останавливаются на Копылове. Он перестал для нее существовать, стал частью ее великого, испытанного на войне, горя. Мы верим автору, что и для Шурочки Чабанец, сыгравшей на войне не одну свадьбу, мечта о настоящей любви, о настоящей семье, остается чистой. Поразительно достоверен автор в передаче тончайших душевных движений своих героев. Сколько холодного презрения, горечи, усталости звучит в голосе Шурочки, когда она дает Копылову сухую и жестокую отповедь. И это понятно: он был для нее воплощением обманутых надежд, оскорбленного женского чувства, попранного войной.

Бывший участник войны, Дм. Сергеев ненавидит ее. Он показывает, как бесчеловечные условия войны коверкают человека, отнимают у него чистые помыслы, светлые надежды, способность быть чистым и цельным.

Серьезный разговор об этом начинали А. Платонов, Э. Казакевич. Его продолжили лучшие современные прозаики—Ю. Бондарев, В. Быков, К. Симонов, В. Богомолов, В. Астафьев. Неожиданность ситуаций, в которых проявляется человеческий характер в рассказах «Возвращение» и «Двое в степи», суровый их реализм в свое время тоже вызывали огонь критики. Время подтвердило и проверило правомерность подобного подхода к жизненному материалу. Глубокая достоверность характеров, суровая правда войны в повести «Позади фронта» заставляет надеяться, что и это произведение выдержит проверку временем.

* * *

Новая повесть Дм. Сергеева «Семейский сруб» более сложна по художественной задаче, в ней поставленной. Она остро современна, хотя события и отнесены к 1957 году, более публицистична и целенаправленна. Сегодня автора волнуют такие сложные проблемы, как взаимоотношения поколений, взятые в главном — в их истинном служении идеалу и в фанатичном, но отнюдь не бескорыстном, следовании ему. Дм. Сергеев задумывается и над такими сложными явлениями современного развития, которые порождают прожектерство, карьеризм, равнодушие к человеку, холодную жестокость, пытающуюся вытеснить человечность, превращение идеи в догму и т. д.

Судьба Валерки Дубилина коллектора и взрывника геологической партии, над многим заставляет задуматься. Он вырос в благополучной семье, где все предоставлено было к его услугам — обеспеченность, возможность выбирать свое будущее—все, кроме искренности и человечности. Как-то так повелось, что его отец — участник гражданской войны, поверил в свою непогрешимость, он стал увлекаться мыслью о своей «избранности», привык поучать и диктовать. В детстве Валерка искренно поклонялся отцу, засматривался на его фотографию в шлеме с высоким шишаком. Но когда однажды товарищи по школе презрительно отвернутся от него, потому, что он — сын человека, который из упрямства, принимаемого самодовольно за высокую принципиальность, поможет засудить человека невиновного, многое предстанет для него в ином свете, и тогда безжалостно ясным станет, что и хромота, приобретенная в те далекие годы, и напускная важность — не настоящие. Просто Валерка поймет, что отец его слишком увлекся ролью заслуженного, почетного гражданина, столь щедро предоставленной ему временем не по заслугам. Так наступил разрыв с семьей, и Валерка оказался в Сибири, в геологической партии.

К Дубилину-старшему вполне применимы слова одного из героев леоновского романа «Вор» о том, что «никому в жизни и истории не следует полагаться на чрезмерное свое обаяние... тут-то и рвется ниточка порой». Дубилин-сын вырастает человеком, органически не приемлющим пустых словес, недобросовестности, показухи. За внешней неприметностью, непритязательностью Валерки скрывается кристальная честность, высокая взыскательность и человечность. Они проявляются не только в его отношении к прорабу Грише — потенциальному карьеристу и мещанину, для которого личное благополучие превыше всего, не только в отношении к бывшему зэку Лешке, способному на настоящее товарищество, но и в любви Валерки к Даше, воспитанной в нелепых, отживших свой век традициях староверов. Поездка Валерки и Даши в город — одна из лучших страниц в произведении. Здесь, как и в повести «Позади фронта», во всем своем великолепии проявился дар Дм. Сергеева — художника-

психолога. Искренность и правда человеческого чувства, добрая улыбка автора — на каждой странице. Влюбленность, чистота Валеркиного чувства к Даше помогают ему победить ее упрямство, пробуждают в ней женскую гордость и робкую надежду на счастье и освобождение от гнета родителей.

Что теряет Даша со смертью Валерки — это лаконично, но выразительно подчеркнуто в финале. Она окаменела, ее мучительно завораживающий взгляд все время останавливается на отпечатке, оставленном на полу Валеркиной кровью.

Судьба Валерки Дубилина соотнесена и множеством деталей связана с судьбой отца и сына Изотовых. Эта параллель — антитеза концептуальна, в ней заключена главная авторская мысль. Нефед всем своим поведением и внешним видом подчеркивает верность староверским обычаям и заветам. При грозном и фанатично слепом своем отце он послушен и безмолвен. Он ненавидит своего брата Петрована, не примирившегося с властью отца и ушедшего в город. Он не прочь накалить и поддержать ярость отца против сына не потому, что ему дороги обычаи отцов, а из корысти. С уходом Петрована он остается единственным и главным наследником и господином положения. Так обстановка слепого фанатизма способна породить не только здоровый протест, но и лживую позу, корысть, расчет. Лицемерно служа идее, Нефед извращает и приспосабливает ее к целям низменным и мелким.

Отношение автора к Дубилину-старшему и Афанасию Прокопьевичу выражено в раздумьи старшего геолога партии Зои Алексеевны. В угрюмом староверском доме стоит два гроба. Два отца в разных половинах дома обдумывают прошлое перед лицом нелепой смерти. «Обоим старикам, Валеркиному отцу и Афанасию Прокопьевичу, не сострадала, не сочувствовала (Зоя Алексеевна. — Н. Т.). В нечеловеческой твердости, с какою они оба держались, было что-то отталкивающее ее — оба охолодели возле гробов, уйдя в свои думы, далекие от боли и жалости к погибшим детям — так ей казалось».

Староверский сруб. Староверское село. Почти 300 лет продержались в нем его суровые законы. Как выглядело село при декабристах, так (если не считать телефонных и электрических проводов да афиши в клубе) стоит оно и в наш космический век. Яростно оберегали староверы-фанатики жизнь от властных велений времени. Но не вечен староверский закон. Правоверных защитников старины все меньше. Лживость их проповедей очевидна. Нефеду противостоят в повести Петрован, Даша, Секлетинья, порвавшие или готовые порвать с дикими обычаями, Дементий Слатин — пустобрех с «липкими пальцами», готовый урвать для себя что-то на обломках староверского быта, молчаливый Мортя, легко приспосабливающийся и к старинным обычаям села и к жизни геологической партии.

Крушение староверского закона мастерски соотнесено в повести с выразительным пейзажем. Первые заморозки захватили геологов в тайге неожиданно. Перемерз лесной ключ, от которого зависела их жизнь. Застыли на дне его палые листья. Наполняясь новыми красками, осенний пейзаж возникает накануне драматической развязки. «Распаханная земля за огородами испятнана множеством теней: при низком солнце они расползлись от каждой былинки, от каждого перевернутого пласта». Поразительно точен и емок этот прозрачный, холодный, со множеством теней, осенний слякотный пейзаж, усиливающий драматизм описанных автором событий. Сияющие осенние звезды на черном небе останавливают внимание героев и в финале повести. «Застывшая земля гудела под ногами, звонко лопался лед, одевший лужи».

Но при всех отмеченных выше достоинствах новой повести Дм. Сергеева, в ней есть недостаточно проясненные ситуации, нечетко выписанные характеры. Почти не запоминается читателю образ Анатолия Кузьмича, бледен Иван Архипович. Начальник партии Ширявин на этом фоне более приметен, но тоже мало выразителен как индивидуальность. Недостает выразительных штрихов к портрету Зои Алексеевны Половой, хотя в ее обрисовке и немало интересных наблюдений и деталей, делающих героиню привлекательной, вызывающей искренние симпатии.

Впрочем, каждый из перечисленных в этом плане персонажей несет в повести чисто «служебную» функцию, наполняя повесть своим, пусть не всегда до конца проясненным, содержанием. Ведь история взаимоотношений завхоза и прораба — с одной стороны, прораба и начальника парсии — с другой, при подчеркнутой эпизо-

дичности ее в повести, поднимает массу острых морально-этических проблем, связывающих «Семейский сруб» с лучшими произведениями современной прозы. Взаимоотношения человека и коллектива, начальника и подчиненного, власть и моральные качества человека, долг перед коллективом и личные интересы, высокая идея и моральные качества ее носителя, наконец, идея и живая жизнь — вот тот круг вопросов, которые пытается автор, если и не решить, то, по крайней мере, поставить. И в этом отношении его повесть заметно выигрывает в сравнении с опубликованным недавно в «Сибирских огнях» произведением Аскольда Якубовского «Мшава». Обе повести близки по теме: в одном случае геологи работают в соседстве со староверским селом, в другом — топографическая партия обнаруживает в лесу староверов-кержаков. В одном и другом случае гибнут люди. Даже в деталях есть совпадения: спутник, облетающий Землю, взирает на полный контрастов мир.

Но у А. Якубовского повествование о «Мшаве» — мире, изжившем себя и уродливом, — стало лишь условием проявления характера новоявленного дельца Яшки. Вывод автора неглубок и лежит на поверхности.

«Семейский сруб» — повесть колючих, нерешенных, сложных проблем. Интерес к ним — свидетельство гражданского, художнического возмужания автора, проделавшего значительный путь к углубленному осмыслению мира.

АЛЬМАНАХ «АНГАРА» № 2

Редактор Л. А. Васильева
Худож. редактор А. И. Аносов
Техн. редактор А. В. Пономарева
Корректор В. М. Ермакова

Сдано в набор 27 января 1969 г. Подписано в печать 2 июня 1969 г. Печ. л. 9,35. Уч.-изд. л. 9,5. Бумага 70×90¹/₁₆. Тираж 5000. Заказ № 660. НЕ 00120. Цена 40 коп.
Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.
Типография «Восточно-Сибирской правды», ул. Советская, 109.



На 2 и 3 страницах обложки гравюры Г. Раздобреева

АЛЬМАНАХ «АНГАРА» № 2

Редактор Л. А. Васильева
Худож. редактор А. И. Аносов
Техн. редактор А. В. Пономарева
Корректор В. М. Ермакова

Сдано в набор 27 января 1969 г. Подписано в печать 2 июня 1969 г.
Печ. л. 9,35. Уч.-изд. л. 9,5. Бумага 70×90 1/16. Тираж 5000. Заказ № 660.
НЕ 00120. Цена 40 коп.
Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.
Типография «Восточно-Сибирской правды», ул. Советская, 109.



На 2 и 3 страницах обложки гравюры Г. Раздобреева

40 коп.

